нет стр 217-218
21/2-85

1

Нш стр 217-218 11/6-81

верно 9/2-82

11/3-82

— " — 16/12-83

— " — 9/I-87

— " — 25.III.88



РЕДИАРД

КИПЛИНГ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Перевод с английского
под редакцией Вал. Стенича
Вступительная статья
Р. Миллер-Будницкой



Государственное издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинград · 1936

Фронтиспис, форзац, титул
М. Зусмана
Переплет В. Двораковского





Р. Миллер-Будницкая

ПОЭЗИЯ РЕДИАРДА КИПЛИНГА[1]

I

Я пил вашу воду и пил вино,
Я ел ваш хлеб и ел вашу соль,
Я был с вами рядом под огненным градом,
Я с вами прошел через радость и боль.

Р. Киплинг. „Департаментские песни“.

Так говорит о себе Редиард Киплинг, обращаясь к «безыменным строителям империи» — туземнорожденным, англо-индийцам, «галерным рабам» рабовладельческого пиратского корабля — Британии.

Военный корреспондент, автор солдатских песен, с эпическим спокойствием передавший муки, тоску и ужас Томми Аткинса и пославший его на смерть, апологет авантюриста, шпиона, «отверженного» цивилизованным миром палача на службе империи, — он был подлинным политическим поэтом британского империализма.

Воинствующий пуританин, миссионер и проповедник «священной миссии избранного народа», с Библией и мечом, с панцырем под рясой, толкующий Библию как книгу национальной и расовой нена-

[1] Родился в 1865 г. в Бомбее (Индия), умер в марте 1936 г. в Англии. Первая книга стихов — „Департаментские песни“ — вышла в 1886 году. Расцвет творчества Киплинга приходится на 90-е гг. прошлого века и первые годы XX столетия.

висти, — в своей поэзии он создал апофеоз грабежа, убийства, насилия, зверства.

Сказочник, влюбленный в отдаленные доисторические времена, рассказавший о молодой земле; мастер дикарских космогоний и животного эпоса, свободно черпавший из недр первобытного мифологического сознания, — он призывал западного человека сбросить ветхую змеиную кожу цивилизации и провозглашал «закон джунглей», звериную борьбу за существование, основанием кодекса нового человечества.

Пафос поэзии Редиарда Киплинга, это — пафос насильственного порабощения «цветных» и «добровольного» рабства белых, в мрачных трюмах галеры единой «Владычицы морей», всемирной Британской империи.

Протянем же кабель (взять!)
От Оркнея до Горна и звезд,
Вокруг всей планеты (с петлею, чтоб мир захлестнуть!),
Вокруг всей планеты (с узлами, чтоб мир затянуть!).

II

Острова мы окрасили красным,
За жемчугом шли на дно,
Ликовали над самородком,
Жили голодно и бедно;

Мы смеялись над миром: мужчины,
Города и женщины — тлен!

. . . .

Тост (его мы тихонько выпьем)
За безыменный сброд,
За наших предтеч безыменных,
Джентльменский пиратский род.

Р. Киплинг „Потерянный легион".

Видение «Великой Англии» проникнуто тоской по хищнической, преступной юности капитализма и стремлением к ее возрождению.

В «Мэри Глостер» и «Гимне Мак-Эндру» Киплинг славит буржуазный миропорядок эпохи начала империализма, поколение пионеров, «доисторических гигантов колониального предпринимательства». Предсмертная исповедь сэра Антони Глостера — социальная биография этого поколения, своеобразный «героический эпос старших богатырей», где сквозь сухой и четкий стук цифр и технических терминов прорывается боль о гибели «старой Англии», гнев и скорбь о вырождении старинной породы завоевателей и строителей, чернорабочих палаческого дела, фанатиков Империи.

Монолог Мак-Эндру, пароходного механика и кальвиниста, называющего себя творцом мира машин, а бога — механиком космоса, — это гимн первым встречам с машинами и неведомыми континентами, воинствующему пуританству, готовящемуся к завоеванию мира.

В этих балладах впервые зазвучали со всей силой конструктивистские тенденции Киплинга. Создается деловой стиль, изобилующий экономическими и техническими терминами, цифрами статистических выкладок, названиями частей машин и производственных процессов. Возникает стремление к точной фонетической и диалектической записи живой речи. Так черта за чертой, с стремлением к максимальной точности, реконструируется героизированный тип старшего поколения империалистической буржуазии Англии.

«Героическому» поколению империалистической буржуазии Киплинг противопоставляет выродившихся «цивилизованных» потомков, яростным презрением клеймя «преждевременную дряхлость» своего класса. В балладе «Томлинсон» он рисует во весь

рост портрет «жителя Берклеи-сквера», с «душой, вычитанной из книг», «ноющего вора, укравшего человечий наряд». Старинная мильтоновская легенда о падших ангелах, которых отвергло небо и ад не принял, — символ поколения, пораженного безверием, безыдейностью, творческим бесплодием, — здесь рассказана в виде церковной притчи, приемами ярко раскрашенного народного лубка:

Ты читал, ты слыхал, ты думал, но толку в сказе нет:
Во имя плоти, что ты имел, о делах своих дай ответ.
Если ты вправду отродье земли, то в упадке Адамов род...
Ты не дух и ты не гном, ты не книга и ты не зверь,
Не позорь же доброй славы людей, воплотись еще раз теперь.

В стихотворении «Купцы» современный английский капитан торгового судна провозглашается наследником и преемником конквистадоров, мореплавателей и завоевателей древности. Он плавает в сказочных морях, кишащих чудовищами и духами, встречает корабли-привидения, управляемые мертвым экипажем, сталкивается с Летучим Голландцем в центре багрового смерча и берет на борт призраков во мгле метелей Мыса Духов. Он пиратствует, грабит встречные суда, убивая и обращая в рабство команду; и вновь открывает первозданную землю, Океан древних эллинов, обтекающий «земной круг»:

Мы обошли всю карту,
Все новые пути,
Нам острова светили,
Которых не найти.

Этот купец, капитан или офицер колониальных войск, пират и контрабандист или начальник кара-

тельной экспедиции, человек-зверь в единоборстве со стихией или с хищником-врагом, — становится центральным образом баллад Киплинга.

Беззастенчивая апология морского разбоя, былинный сказ о подвигах знаменитых пиратов («Стихи о трех капитанах»); ночная резня в портовом кабаке, борьба разгоряченных самцов за женщину («Баллада о ночлежке Фишера»); борьба человека с природой, кучки моряков на утлом, полуразрушенном суденышке — с зимними штормами северных морей, пафос служения торговой фирме, быть может, воодушевлявший некогда верных слуг Ост-Индской компании в ее колониях, — таковы темы морских баллад Киплинга.

Но подлинный «героический эпос пиратства» — это «Стихи о трех котиколовах», о смертном бое пиратских шхун, под светом «ночных планет» и льдов, там, где «бот, обрывающий айсберги и в море ведущий лед, слышит, как плачет лисенок и ветер в снегах поет». Это — возвращение доисторических времен, слепой бой телом к телу двух пещерных людей на льдине, где трупы обоих остаются среди ландшафта ледникового периода.

Заключительные строфы эпической поэмы о котиколовах — гимн пиратам арктических морей:

Малым вперед, как вел их лот, солнце в тумане все дни, —
Из мрака в мрак, на риск каждый шаг, шли, как Беринг, они.
И вел их свет ночных планет, карта северных звезд,
На норд-норд-вест, Западный крест, за ними Близнецов Мост...
Айсбергов треск и китов плеск чуяли сквозь туман,
И котиков рев от берегов, слышный и в ураган,
И ярость ветров меж островов (ее там зовут пургой),
Где на север — остров Георгия, на запад — Павел Святой,
И здесь и там встречным судам привет слал пиратский флот.

Бой пиратских шхун из-за добычи возвращает к временам борьбы за мировое господство великих торговых держав. Эпизод из повседневной жизни колониальных будней вдвигается в рамки воображаемой исторической перспективы, строятся параллели с эпохой начала капиталистической эры, героизированный образ прошлого как бы наплывом движется на настоящее, покрывая и вытесняя его. Так из романтизации истории капитализма рождается киплинговская баллада, романтическая и историческая одновременно.

«Даль веков», «дымка времени» в балладе Киплинга — это ее символический пейзаж. Мир остается таким, каким он представлялся человеку эпохи великих географических открытий. Географический пейзаж точно реконструируется по фантастическим морским картам той эпохи, с белыми пятнами неисследованных земель, чертежами новых великих морских путей, с островами и материками сказочных богатств, скрытыми где-то у бесконечно отступающего «края земли».

Восточный эпос Киплинга («Баллада о царской милости», «Баллада о царской шутке» и «Баллада о Западе и Востоке») посвящен создаваемой колонизаторами расовой ненависти цветного и белого человечества, борьбе Востока и Запада и их предполагаемому примирению в лоне единого рабства «нового цезаризма». Герой этих баллад — военно-феодальный вождь, самодержавный царек отсталых туземных племен — прообраз грядущего диктатора «Великой Англии». Ибо, по мысли Киплинга, на Западе близится возрождение в мировых масштабах восточной древнеазиатской деспотии, как идеальной формы правления мировой империи будущего. Поистине «братски» об-

мениваются дарами Восток и Запад: Запад приносит ужасы колониального рабства по всем правилам европейской военной техники; но Восток, — утверждает Киплинг, — заронит в западные земли семена древних военно-феодальных деспотий Ассирии и Персии.

Так творчество Киплинга несет в себе зародыши идей английского фашизма.

В эпоху роста интернациональной солидарности пролетариата, нарастания революционного движения в колониях, развития и укрепления идей братского союза народов Запада и Востока в революционной борьбе, — киплинговская проповедь неискоренимой вражды Запада и Востока звучит призывом к новой империалистической войне. Призывая к беззастенчивой эксплоатации восточных народностей, к «политике денег и меча», разорению и физическому уничтожению целых племен, оправдывая самые грязные и черные дела во имя торжества британского империализма, — Киплинг видит на Востоке постоянную угрозу западному миру. Ему недоступны подлинные картины будущего человечества, ставшего настоящим в стране социализма, — единая семья трудящихся всех народов Запада и Востока, взаимное обогащение и плодотворное сотрудничество национальных культур в строительстве всечеловеческой социалистической культуры.

Восточная баллада Киплинга дидактична и мрачна: в форму восточного эпоса, проникнутого глубоким фатализмом, выливается вера Киплинга в всемирную империю грядущего. Эта идея кристаллизуется в остро отточенной и патетической форме четкого политического афоризма, обрамляющего балладу или повторяющегося рефреном на всем ее протяжении. Она рас-

крывается в самой балладе, построенной либо в виде дидактической притчи, вставной новеллы, импровизируемой рассказчиком на пиру купцов, либо главы из кровавой летописи царствования туземного царька, из истории восстания против англичан одного из князей. Бесстрастный эпический тон рассказчика словно заимствован из «Тысячи и одной ночи».

Таков подлинный смысл лейтмотива баллад Киплинга:

О, Запад есть Запад и Восток есть Восток, и с места они не сойдут,
Пока не предстанет небо с землей на страшный господень суд.

III

Роса этот флаг целовала, туман его прятал седой,
В краю обнаженных созвездий он несся попутной звездой,
Флаг Англии! Ветра дыханье навстречу бросается вам,
Но вам нипочем, — вы пройдете к нему по кипящим морям.
Вперед же, смелее, — он там!

Р. Киплинг. „Английский флаг".

Так ветры широт, волны океанов и звезды небес — все стихии мироздания приносят присягу английскому флагу в поэзии Киплинга.

Человек, природа и техника сливаются в единое целое, связанные идеей «строительства Британской империи»...

Так рождается хоровая песнь у Киплинга, — песнь городов и стран, морей и земель, широт и бурь, народов и рас. Мощные хоры сливаются в единую хоро-

вую поэму-драму, некое аллегорическое, возрождающее средневековую народную мистерию, массовое действо.

Библия становится для Киплинга книгой пророчеств об исторических судьбах и священной миссии западного человечества. «Избранный народ иудейский» — избранничество англо-саксонской расы; скитания в пустыне в поисках «земли обетованной» — странствия в борьбе за мировое господство далекой родины; священные войны детей Сиона и детей Ваала — колониальные и империалистические войны. Бог Киплинга — бог ярости и мести, древний кровожадный Ягве, утверждающий свое господство над миром и грозящий библейскими карами своему народу за измену его предназначению:

Земля дрожит от гнева,
И темен океан,
Пути нам преградили
Мечи враждебных стран.
Когда потоком диким
Нас потеснят враги,
Иегова, гром небесный,
Бог Сечи, помоги!

Идея создания рабовладельческой империи на костях цветных народов передается из поколения в поколение, подобно тому, как основатели древних деспотий завещали своим потомкам развалины утопических городов и дворцов — символ их тиранической власти («Дворец»):

Но надпись носили дерево, камни, металл:
Вслед за мною идет строитель. Скажите ему — я знал.

По мысли Киплинга, мировое господство предназначено «сынам Марии», белым людям, «расе господ»; им свыше дарована неограниченная власть над

«сынами Марфы», цветными «расами рабов», окрашивающими собственной кровью каждую тропинку на путях своих братьев, каждый камень их строительства.

Народ, изменивший своей миссии, пораженный безумием, уверовавший в свободу, равенство, братство и открывший ворота врагам, — утверждает Киплинг, — будет предан огню и мечу, и рабству, горшему смерти; его площади зарастут травой, его дворцы охватит «мерзость запустения» и страна превратится в пустыню («Бронзовый город»). «Их военачальников и судей да поразит проказа, да станут они отверженными среди рода человеческого» («Гехази»). «Некогда был народ, и о погибшем владычестве его ты будешь вечно рыдать, глядя на его творения».

Так весь этот цикл протекает под знаком возрождения средневековой народной мистерии, библейских сказаний и гимнов.

Язык Киплинга здесь торжественный, патетический, насыщенный ветхозаветными архаизмами и риторическими фигурами, язык гимна, проповеди и духовной оды. Вся образная система аллегорична, проникнута церковной символикой. Таков, например, символический пейзаж этого цикла — пустыня, по которой кочует избранный народ в поисках земли обетованной, бесконечный путь, устланный костями воинов и пионеров.

Реакционная политическая мысль Киплинга облекается в реакционные архаические формы. Киплинга привлекает своеобразная «демократичность», популярность этих жанров, их агитационная действенность.

Если библейская символика в начале XIX в. в творчестве утопических социалистов еще воплощала ре-

волюционный для той эпохи идеал будущего социалистического общества, то в начале XX в. в поэзии Киплинга полностью расцветает ее реакционный смысл. У Киплинга воскресает давно забытый облик Библии, летописи кровавых набегов воинственных кочевых племен, проникнутой духом национальной и религиозной вражды во имя создания нации и государства.

В возрождении средневековой мистерии Киплинга привлекает ее универсальность, ее своеобразный космизм времени и пространства, ее насыщенность социальной сатирой и гротеском. Подобно тому, как в мистерии сцена охватывает землю, рай и ад, так и у Киплинга в этом цикле сценой служит весь земной шар, стянутый канатами меридианов к единому центру — Британской империи; как в средние века часы и дни представления мистерии означали века и эпохи, так и здесь время действия — с начала капитализма вплоть до создания в грядущих веках всемирной империи. Так народная мистерия — религиозная форма социально-политической пропаганды эпохи средневековья — сохраняет у Киплинга свой остро-злободневный, агитационный характер и становится формой пропаганды империалистической политики Англии.

В хоровой поэме-драме Киплинга поют страны, народы, расы. Но громче всех звучит со дна океанов и из-под вздыбленных самумом песков хор мертвецов, посвящающих своих сыновей в смертники во имя создания Империи.

Следом, дети! Следом, дети! Наша кровь течет
По корням кустов, деревьев; зреет пышный плод.
Следом, дети! Следом, дети! Жатва — здесь и там.
По костям отцов придете вы к своим костям...

Коль кровь — цена владычеству,
Коль кровь — цена владычеству,
Коль кровь — цена владычеству,
То мы уплатили с лихвой.

IV

Ура! И мы никогда не пойдем к победе!
Ура! И мы уже не услышим рева орудий!
Большие Хищные Птицы
Нас унесут,
И вы больше никогда не увидите ваших солдат!

Р. Киплинг. „Марш Хищных Птиц".

Эти мрачные строфы походного марша колониальных войск, отправляющихся за океан, тяготеют над всем циклом «Казарменных баллад» (1892) и «Департаментских песен» (1886) Киплинга.

В эпоху «конца века», во времена сверхутонченной поэзии эпигонов прерафаэлитизма «Казарменные баллады» зазвучали смелым новаторством. Рушились устаревшие каноны, архаическая символика, косные застывшие формы. В условный эстетический стих того времени ворвалась струя языка улицы и социального дна, сочетания cockney, говора лондонских низов, с солдатским жаргоном и «блатным» сленгом; солдатская хоровая песнь, частушка, «чувствительный романс», политический лозунг и остро гротескный образ агитационного плаката взорвали старые жанры эпигонской поэзии.

Творчество Киплинга этого периода напоминает русский футуризм первых лет революции с его бунтом против упадочного искусства «конца века», с его тягой к «политической поэзии» и стремлением раство-

рить искусство в жизни. И футуристы и Киплинг рассматривали свое творчество как чернуую работу на службе текущих политических задач; но одни работали на революцию и создали замечательные образцы социальной сатиры и утопии, другой — работал на реакцию и оставил только циническую апологию британской армии. В то время как футуризм остался революционным явлением в советской поэзии той эпохи, Киплинг вскоре вновь обращается от реалистических форм искусства к реакционной, архаической, библейской и сказочной поэзии.

«Казарменные баллады» — изображение жизни солдата колониальных войск, по своей циничной обнаженности и глубокой реалистичности быть может не имеющее себе равных в современной западной литературе. Социальной функцией этого цикла, четкой политической задачей Киплинга было: художественно воплотить политический и моральный кодекс британского империализма, впитать его в кровь и мозг рядового британской армии, внушить широким солдатским массам, что они — только «пушечное мясо», «серая скотинка», «живые кирпичи» для строителей колониальных владений Империи. Киплинг стремится обезличить солдата, убить всякое проявление мысли и чувства, духовно обеднить и искалечить, воспитать в нем зоологическую ненависть к туземцам, превратить его в послушное орудие империалистической политики правящих классов Англии. Всю свою художественную силу Киплинг ставит на службу «социальному заказу»: обработке человеческого материала для империалистических и колониальных войн настоящего и будущего.

Но в то же время «казарменные баллады» развертывают перед нами правдивые картины тяжелого положения английского солдата на одной из низших ступеней иерархической лестницы, у самого края социального «дна». Киплинг описывает горечь унижений, скотское обращение и автоматизирующую муштру, голод, жажду, усталость в походах и всеобщее презрение у себя на родине.

Солдат британской колониальной армии — «Томми Аткинс» или «Джолли, ее величества Джолли, солдат и он же моряк», «галерный раб Великой Англии», ценой мук и всей жизни спасающий свою, галеру от близящегося восстания «живого груза негров» «в час, когда решетки люков негры разнесут в щепье, и трусливый кормчий с треском вгонит на берег ее». Ибо так толкует Киплинг «бремя белых», придавившее всей своей тяжестью плечи Томми:

Несите бремя белых, —
Что бремя королей!
Галерника колодок
То бремя тяжелей.

Томми — та безыменная человеческая жертва, которая должна быть замурована в фундамент всемирной Британской империи; его единственное назначение и смысл его жизни — смерть за родину. По всем дорогам британской армии в Индии и в южной Африке у Киплинга высятся башни из трупов, «живые башни Чингисхана».

Киплинг не боится исчерпать всю чашу мук колониального солдата. «Горяча и сладка она, она не праздничное питье, но мы должны пить до дна». С эпическим спокойствием, а подчас с экстазом муче-

ничества он обнажает язвы на теле галерного раба, выжженные клейма, следы кандалов, въевшихся в живое мясо, натруженные потные спины, иссеченные до костей. В походных маршах и хоровых песнях, под грохот орудий и дробь барабана, звучат жалобы Томми. Это муки бесконечных переходов под солнцем тропиков, где смерть подстерегает из-за каждого камня («Пыль»); бесконечная муштра, истязающая тело и отупляющая дух, превращающая человека в клубок простейших физиологических ощущений, животных рефлексов («Карцер»); ужас и тоска по товарищу, потерянному в бою или расстрелянному в полку («Братцы, братцы», «Дэнни Дивер»); тропические болезни и холера в лагере («десять смертей в ночь»), библейская смерть в пустыне, среди раскаленных песков и одиночества, со стаями шакалов, неотступно следующими по пятам за полком («Холерный лагерь»). Но, быть может, горше всего — презрение к «серой скотинке» у себя на родине («Томми Аткинс»):

О, Томми — то, да Томми — се, и с Томми знаться стыд,
Зато „Спасибо, мистер Аткинс", когда военный марш звучит,
Военный марш звучит, друзья, военный марш звучит.
Зато „Спасибо, мистер Аткинс", когда военный марш звучит

Заключительные строки эпиграфа к «Маршу шпионов»: «Смерть — странный товарищ для постоянного общения».

Лирический лейтмотив всего цикла, смягчающий мрачные краски, — «Drang nach Osten», глухой непреодолимый «зов Востока», названной родины бездомного, всюду гонимого Томми.

Вечер в пальмах кличет тихо, колокольный звон слышней:
„К нам вернись, солдат британский, возвращайся в Мандалей".
И теперь я понимаю, что солдаты говорят:
„Кто услышал зов Востока, тянет всех туда назад".

В песне «Южная Африка» Киплинг рассказывает о странниках, влюбленных в тропическую страну, «женщину, прекрасней всех, всех боготворимей», об их попытках бегства на родину и постоянном возвращении на муки и смерть. «И могила их встает, как Алтарь Народа».

Так сам Киплинг раскрывает подлинный смысл этого «зова Востока». Это — все тот же голос обреченности, призыв «испить чашу до дна», мотив влюбленности раба в свои цепи.

Самая форма казарменной баллады Киплинга должна говорить о глубоком фатализме, чувстве обреченности Томми Аткинса. Баллада обычно строится на диалоге Томми — запевалы, жалующегося на свою тяжкую участь, и вторящего ему солдатского хора; подобно хору в античной трагедии, символизирующему всемогущество рока, солдатский хор воплощает трагичность и неизбежность законов войны.

Безысходностью дышат строфы Киплинга, описывающие ад службы в колониальных войсках:

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке, —
Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
Отпуска нет на войне,
Я-шел-сквозь-Ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровень, ни чертей,
Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

V

Неужели я женщиной был рожден и знал материнскую грудь?
Мне снился ворох мохнатых шкур, на которых я мог отдохнуть.
Неужели я женщиной был рожден и ел из отцовской руки?
Мне снилось, что защищали меня сверкающие клыки.
Неужели я — единственный сын и один играл у огня?
Мне снились товарищи мои, что больно кусали меня.
Неужели я ел ячменный хлеб и водой запивал наяву?
Мне снился козленок, ночью глухой зарезанный в хлеву.
Мне снились полночные небеса и в джунглях полночный крик,
И тени, скользящие прочь от меня, и красный их язык.
. . . .
И волчица к сыну вышла из мглы, и у ног покорно легла.

Р. Киплинг. „Единственный сын".

«Книга джунглей» Киплинга (1894) — былины о богатыре, который был покинут ребенком в лесу и воспитан зверями, возвратился в человеческое общество и стер с лица земли враждебный ему народ. Киплинг стремится создать героический эпос о борьбе западного человечества и народов Востока; предание о смене золотого века железным, о падении тысячелетних цивилизаций древнего Востока, несметные сокровища которых стережет только седой Отец Кобр, и о рождении в джунглях нового варварского мира. Он рассказывает романтизированную биографию «туземнорожденного», отщепенца двух отечеств — Англии и Индии — и заклятого врага «цветных», в образе Маугли, изгнанника Волчьей стаи и родной деревни, гонимого в логове зверя и в поселениях человека. Яркими красками рисует он воображаемый ландшафт первозданной земли, дикой, плодородной, сочащейся молоком и кровью, еще не остывшей, дымящейся в грозовых облаках, под солнцем первых

дней творения — родины и приемной матери «странников Юга».

За небо, что стало родным...
За буйволов в тысяче чащ,
За дождь, не грозящий ознобом,
За солнце, чей луч не палящ...
Мужчин, для которых и в зиму
И в лето — сплошной мясоед,
За женщин, которые двойней
И тройней рождают на свет.

Но в то же время «Книга джунглей» воскрешает древние формы животного эпоса, как социальной сатиры и утопии. Это — гротескно-сатирическое изображение социальной жизни Европы на рубеже XIX—XX веков, язвительная критика ее нравов, морали, политики, устаревших с наступающей эпохой империализма. Басни об отверженном джунглями и страдающем манией величия племени Бандар-Логов — обезьян, — о буржуазно-демократической республике; о нашествии Дхолей, Красных собак, якобы грозящем западному миру восстании цветных рас. Притча об «идеальном» человеческом обществе, основанном на звериной борьбе за существование, о «законах джунглей, вечных и нетленных, словно небесная твердь», где государство — Волчья стая, образ правления — тирания Предводителя, а слуга и воин общества — волк Вонтолла, отщепенец Стаи, но верный ей открыватель новых мест охоты и поджигатель войн.

Видишь, Мор-Павлин трепещет, и в тревоге обезьяны,
Плавно коршун Чиль кружится на больших крылах,
И неясные мелькают в полумраке джунглей тени...
Это — Страх, Охотник-крошка, это — Страх!
Все громовые раскаты покрывает жуткий голос:
Это — Страх, Охотник-крошка, это — Страх!

Так открывается подлинный смысл «Книги джунглей». Это — книга ненависти ко всем формам человеческой культуры, проповедь варварства и возвращения человечества вспять, в доисторические времена. Она построена в форме древнейшего эпоса; в ней звучит голос первобытного человека, охотника и воина, научившегося понимать язык зверя раньше человеческого. Раздается песнь охоты («Песнь маленького охотника», «Утренняя песнь джунглей», «Ночная песнь джунглей», «Охотничья песнь Сионийской стаи»), песнь войны («Угрозы Маугли сельчанам», «Песнь на Скале совета»), похоронный плач («Песнь Чиля», «Человек уходит к людям», «Как поохотился, брат-зверолов?»), песнь поучений, эта примитивная форма своеобразного социального кодекса («Законы джунглей», «Изречения Балу»).

«Книга джунглей» — апология империалистического хищничества, мечта о человеческом обществе, превращенном в звериную стаю, где единственный закон — права хищника на добычу, где царят хаос, анархия и развал, а жажда убийства и страх смерти сменяют все общественные связи.

Богатейший, еще нетронутый материал туземных сказок и преданий, притч, басен и космогоний, — служит Киплингу исключительно для романтизации дела завоевания колоний. Поэт рисует колонии как «землю обетованную», как некую потерянную родину человечества. В «Книге джунглей» и в стихотворении «Туземец» поэт романтизирует образ колонизатора, колониального чиновника, вымогателя и истязателя «цветных», рабовладельца, загоняющего до смерти на своих плантациях сотни тружеников, начальника карательных экспедиций, огнем и мечом прокладывающего себе путь. Символический сказоч-

ный образ этого колонизатора, — это образ Человека-Волка, разрушителя цивилизации, обращающего города и селения в чащи и пустыни:

Напущу я на вас неотвязные лозы,
И род нечестивый ваш джунгли сметут...

Деревья восстанут,
И кровли падут,
И горькие стебли карелы
Пустырь оплетут.

У ваших околиц зверье будет петь,
У притолок хижин — вампиры висеть.
Змея сядет стражем
На печку, на пол...

Олень будет пахарь
Несеянных нив,
И волк будет лютый
У вас в пастухах.

VI

Мое господство Лирой началось
(О, лазурь над хижинами пастухов!)
Край, куда Небесный вор огонь принес,
Чтоб сковать мой гриф и кольца ободков,
Голосом моим вещает Мудрый век
О «Вчерашнем завтра», истине простой,
Я — прямая Радость жизни, древний грек,
Песня вечная о юности людской.

Р. Киплинг. „Песнь банджо".

Так звучит «Песнь банджо», поэтика и «философия искусства» Киплинга.

Банджо — для Киплинга символ его искусства, — правнучка лиры, скованная в Прометеевом огне, спутница Улисса и Синдбада, голос всемирного господства западного человечества над глухими и тем-

ными варварскими континентами, «связывающий мир звено к звену».

Банджо — голос неутолимой тоски «странника Юга», вечного бродяжничества и вечной ностальгии «младшего сына», «блудного сына» Англии; древний зов к скитаниям и боям, «голос крови» предков, похороненных на дне тропических морей или под льдами Арктики.

Банджо — связь времен, возрождение прошлого в настоящем и будущем, воскрешение доисторических веков, пафос открытия мира и борьбы с природой, «извечная» романтика первобытного искусства. По мысли Киплинга, ее считают мертвой с каждым веком дряхлеющего мира, но она возрождается вновь, ибо с каждым поворотом колеса истории мир катится не вперед, но назад.

Так сеть свою она плела,
Где сердце — кровь, и сердце — чад,
Каким-то чувством заперта
В мир, обернувшийся назад.

Так открывается цикл стихов об искусстве, сказаний о первом человеке Адаме, об Анге, Еварре, о безыменном художнике неолитического века.

Вот вам мудрость навсегда, я узнал ее, когда
Лось ревел там, где Париж ревет теперь...

Это — мудрость первобытного искусства. Для Киплинга художественное творчество пещерного человека — общечеловеческое абсолютное искусство, прообраз искусства грядущего; его формы и категории вечны и священны, повторяются в неизмененном облике на протяжении мировой истории, в творчестве всех времен и народов, вплоть до наших дней («В неолитическом веке»).

В эпоху, когда формалистическое искусство буржуа-

зии обращается к истокам «дологического», нерасчлененного мышления первобытного человека, стремясь к разрушению связей и закономерностей и возвращению в хаос, — Киплинг ищет в первобытном творчестве пафос варварства.

Идеализируя это искусство, он приписывает ему дикую молодость мира и человека, свежесть и цельность восприятия, хищную зоркость глаза и твердость руки, умеющей передать резкими и грубыми красками живую плоть зверя и человека в беге, лете, напряжении, борьбе. Он сочиняет легенды о действенном, магическом значении первобытного творчества, его социальной роли и жизненной необходимости, «вещей силы» вести воинов в бой, приводить зверя в силки охотника, лечить раны и укреплять единство племени.

В своих сказаниях он рисует первобытного художника — творца мифологий и космогоний, гордость своего племени и скитальца среди чужих, впервые открывающего мир и устанавливающего законы мироздания, дающего имена городам и землям, в муке и темной ярости освобождающего из камня и руды образы вещей. Это — «творец богов в стране за океаном», «гордыней пьяный раб шумных сборищ и мычащих стад», тот, что «из живой скалы в слезах и поте лицом к востоку высек образ бога» и свой глухой, косноязычный лепет о мире, закон своего вдохновения поставил единственным законом всего народа. «Так делают богов, кто сделает иначе — тот умрет» («Еварра и его боги»). Это — «певец своего клана», водивший его в бой с «богами страшных горных стран», каменным топором разрешавший эстетические

споры и украшавший косматую грудь ожерельем из зубов своих врагов («В неолитическом веке»).

Так в «Песне о банджо» Киплинг рассказывает свою глубоко реакционную философию искусства.

В «философии искусства» Киплинга поэзия — это романтика доисторических времен, апология звериного начала, пробуждение дремлющих, атавистических инстинктов убийства и насилия, утверждение «Вчерашнего завтра», варварства против цивилизации.

В то же время это — «связь мировой истории», наследие предков и воспоминание о заре капиталистического мира, призыв к смерти в странствиях и в боях за «завершение дела западного человечества» — порабощение мира под игом Империи, под пятою английского капитала.

Эта философия полностью подчиняет искусство целям пропаганды, открытия и завоевания новых колониальных владений, романтизации империалистической политики Англии и воспитания «новых кадров» для грядущих войн.

Она враждебна прогрессу и обращена назад, к идеализированному творчеству дикаря и первобытного человека, в поисках художественного выражения самых грубых, примитивных животных страстей и инстинктов. В наши дни, когда фашисты в своей исступленной ненависти к культурному наследию веков стремятся уничтожить лучшие образцы творческой мысли, — киплинговская философия творчества, фактически зачеркивающая всю историю мирового искусства и возвращающаяся к примитиву, получает признание крупнейших «идеологов» фашизма.

Эпиграфом ко всей поэзии Киплинга звучат слова Маркса о позорной юности капиталистического миропорядка:

«Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих, — такова была утренняя заря капиталистической эры производства... За ними следует торговая война европейских наций, ареной для которой служит земной шар... Относительно христианской колониальной системы В. Хоуит, человек, сделавший христианство своей специальностью, говорит: «Варварство и бесстыдные жестокости так называемых христианских рас по отношению ко всяким иноверцам и иноплеменникам, которых им удавалось поработить себе, превосходят все ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху любой расой, не исключая самых диких и невежественных, самых безжалостных и бесстыдных».

«История... колониального хозяйства... развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей». [1]

«Если деньги, по словам Ожье, «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», то новорожденный капитал источает кровь и грязь изо всех своих пор, с головы до пят». [2]

Из стремления героизировать эту грязную варварскую «генеалогию» своего класса и в то же время возвеличить сказкой и эпосом будни колониальных зверств и грабежей, — рождается поэзия Киплинга.

Творчество Киплинга — необычайно четкое и обнаженное художественное воплощение всей программы

---

[1] К. Маркс. Капитал, т. I, Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. стр. 603.

[2] Там же, стр. 611.

британского империализма, его национальной и колониальной политики, пропаганда этих идей среди широких слоев армии и средних классов Англии.

Киплинг раскрывает романтизированные страницы позорной летописи английского капитализма; захват чужих земель, разбой, эксплоатация человека человеком, звериная расовая ненависть, искоренение племен и целых народностей, — провозглашаются Киплингом «священными и незыблемыми основами западной цивилизации». Все отвратительное, низменное и чудовищное из прошлой истории человечества, все призраки старого мира, все то, с чем борется победивший пролетариат, что он уничтожает и выкорчевывает, — в этой поэзии вновь оживает и провозглашается социальным кодексом нового человечества.

Киплинг дает художественно-обобщенный социальный портрет империалистической буржуазии, ее идеи и чувства, ее чаяния и устремления. Он раскрывает лицо врага без маски, что особенно важно для нас в нынешний момент, когда наиболее реакционные слои английской буржуазии стремятся отбросить маскировочную тактику буржуазной демократии.

Он проповедует реакционную философию творчества, сводя роль искусства к открытой пропаганде империалистических идей, отрицая вековое культурное наследие человечества и призывая вспять, к первобытному варварству.

В своих стихах Киплинг развертывает законченную фашистскую концепцию будущего западного мира. Он рисует реакционно-утопические картины торжества британского империализма в новых мировых войнах, окончательного порабощения цветных рас и установления открытой фашистской диктатуры «нового цезаризма».

Поэзия Киплинга исторически сложилась в эпоху расцвета британского империализма, как его апологетика и пропаганда; но в наши дни она становится одним из истоков, питающих «идеологию» английского фашизма. Неслучайно, что именно сейчас, во время необычайного напряжения классовой борьбы, надвигающейся военной угрозы и вооружения всех сил мировой реакции против победоносного пролетариата в стране социализма, творчество Киплинга усиленно пропагандируется и поднимается на щит врагами Советского Союза и поджигателями новой мировой бойни.

В такой исторической обстановке творчество Киплинга приобретает для нас особый интерес, как законченное, высоко художественное воплощение идей и настроений нашего врага, как одно из крупнейших достижений поэзии западного империализма.

IV

МЭРИ ГЛОСТЕР

Я платил за твои капризы, не запрещал ничего.
Дик! Твой отец умирает, ты выслушать должен его.
Доктора говорят — две недели. Врут твои доктора,
Завтра утром меня не будет. . . и. . . скажи, чтоб вышла сестра.
Не видывал смерти, Дикки? Учись, как кончаем мы,
Тебе нечего будет вспомнить на пороге вечной тьмы.
Кроме судов и завода, и верфей, и десятин,
Я создал себя и мильоны, но я проклят — ты мне не сын!
Капитан в двадцать два года, в двадцать три женат,
Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.
Пять десятков средь них я прожил и сражался немало лет,
И вот я, сэр Антони Глостер, умираю — баронет!
Я бывал у его высочества, в газетах была статья:
«Один из властителей рынка» — ты слышишь, Дик, это — я!
Я начал не с просьб и жалоб. Я смело взялся за труд,
Я хватался за случай, и это — удачей теперь зовут.
Что за судами я правил! Гниль, и на щели щель!
Как было приказано, точно, я топил и сажал их на мель.

Жратва, от которой шалеют! С командой не
совладать!
И жирный куш страховки, чтоб рейса риск оправдать.
Другие, те не решались, — мол, жизнь у нас одна.
(Они у меня шкиперами). Я шел и со мной жена.
Женатый в двадцать три года, и передышки ни дня,
А мать твоя деньги копила, выводила в люди меня.
Я гордился, что стал капитаном, но матери было
видней,
Она хваталась за случай, я следовал слепо за ней.
Она уломала взять денег, рассчитан был каждый шаг,
Мы купили дешевых акций и подняли собственный
флаг.
В долг забирали уголь, нам нечего было есть,
«Красный бык» был наш первый клиппер, теперь их
тридцать шесть!
То было клипперов время, блестящие были дела,
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла.
У Малого Патерностера спит она в синей воде,
На глубине в сто футов. Я отметил на карте, где.
Нашим собственным было судно, на котором
скончалась она,
И звалось в честь нее «Мэри Глостер»: я молод
был в те времена.
Я запил, минуя Яву, и чуть не разбился у скал,
Но мне твоя мать явилась — в рот спиртного с тех
пор я не брал.
Я цепко держался за дело, не покладая рук,
Копил (так она велела), а пили другие вокруг.
Я в Лондоне встретил Мак-Кулло (пятьсот было
в кассе моей),
Основали сталелитейный — три кузницы, двадцать
людей.

Дешевый ремонт дешевки. Я платил, и дело росло,
Патент на станок приобрел я, и здесь мне опять
повезло,
Я сказал: «Нам выйдет дешевле, если сделает их
наш завод»,
Но Мак-Кулло на разговоры потратил почти что год.
Пароходства как раз рождались, — работа пошла
сама,
Котлы мы ставили прочно, машины были — дома!
Мак-Кулло хотел, чтоб в каютах были мрамор и
всякий там клен,
Брюссельский и утрехтский бархат, ванны и общий
салон,
Водопроводы в клозетах, и слишком легкий каркас,
Но он умер в шестидесятых, а я — умираю сейчас...
Я знал — шла стройка «Байфлита» — я знал уже
в те времена,
(Они возились с железом), я знал — только сталь
годна.
И сталь себя оправдала. И мы спустили тогда,
За шиворот взяв торговлю, девятиузловые суда.
Мне задавали вопросы, по Писанью был мой ответ:
«Тако да воссияет перед людьми ваш свет».
В чем могли, они подражали, но им мыслей моих
не украсть:
Я их всех позади оставил потеть и списывать
всласть.
Пошли на броню контракты, здесь был Мак-Кулло
силен,
Он был мастер в литейном деле, но лучше, что
умер он.
Я прочел все его заметки, их понял бы новичок,
И я не дурак, чтоб не кончить там, где мне дан
толчок.

(Помню, вдова сердилась.) А я чертежи разобрал.
Шестьдесят процентов, не меньше, приносил мне
прокатный вал.
Шестьдесят процентов с браковкой, вдвое больше,
чем дало б литье,
Четверть мильона кредита — и все это будет твое.
Мне казалось — но это неважно, — что ты очень
походишь на мать,
Но тебе уже скоро сорок, и тебя я успел узнать.
Харвард и Тринити-колледж. А надо б отправить
в моря!
Я дал тебе воспитанье, и дал его, вижу, зря.
Тому, что казалось мне нужным, ты вовсе не был
рад,
И то, что зовешь ты жизнью, я называю — разврат.
Гравюры, фарфор и книги — вот твоя колея,
В колледже квартирой шлюхи была квартира твоя.
Ты женился на этой костлявой, длинной как
карандаш,
От нее ты набрался спеси; но скажи, где ребенок ваш?
Катят по Кромвель-роду кареты твои день и ночь,
Но докторский кэб не виден, чтоб хозяйке родить
помочь!
(Итак, ты мне не дал внука, Глостеров кончен род),
А мать твоя в каждом рейсе носила под сердцем
плод.
Но все умирали, бедняжки. Губил их морской простор.
Только ты, ты один это вынес, хоть мало что
вынес с тех пор!
Лгун и лентяй и хилый, скаредный, как щенок,
Роющийся в объедках. Не помощник такой сынок!
Триста тысяч ему в наследство, кредит и с процентов
доход,
Я не дам тебе их в руки, все пущено в оборот.

Можешь не пачкать пальцев, а не будет у вас детей,
Все вернется обратно в дело. Что будет с женой
твоей!
Она стонет, кусая платочек, в экипаже своем внизу:
«Папочка! умирает!» и старается выжать слезу.
Благодарен? О да, благодарен. Но нельзя ли
подальше ее?
Твоя мать бы ее не любила, а у женщин бывает
чутье.
Ты услышишь, что я женился во второй раз. Нет,
это не то!
Бедной Эджи дай адвоката и выдели фунтов сто.
Она была самой славной — ты скоро встретишься
с ней!
Я с матерью все улажу, а ты успокой друзей.
Что мужчине нужна подруга, женщинам не понять,
А тех, кто с этим согласны, не принято в жены
брать.
О той хочу говорить я, кто леди Глостер еще,
Я нынче в путь отправляюсь, чтоб повидать ее.
Стой и звонка не трогай! Пять тысяч тебе заплачу,
Если будешь слушать спокойно и сделаешь то, что
хочу.
Докажут, что я — сумасшедший, если ты не будешь
тверд.
Кому я еще доверюсь? (Отчего не мужчина он,
чорт?)
Кое-кто тратит деньги на мрамор (Мак-Кулло
мрамор любил).
Мрамор и мавзолеи — я зову их гордыней могил.
Для похорон мы чинили старые корабли,
И тех, кто так завещали, безумцами не сочли.
У меня слишком много денег, люди скажут. . Но
я был слеп,

Надеясь на будущих внуков, купил я в Уокинге
склеп.
Довольно! Откуда пришел я, туда возвращаюсь
вновь,
Ты возьмешься за это дело, Дик, мой сын, моя
плоть и кровь!
Десять тысяч миль отсюда, с твоей матерью лечь
я хочу,
Чтоб меня не послали в Уокинг, вот за что я тебе
плачу.
Как это надо сделать, я думал уже не раз,
Спокойно, прилично и скромно—вот тебе мой приказ.
Ты линию знаешь? Не знаешь? В контору письмо
пошли,
Что смертью моей угнетенный, ты хочешь поплавать
вдали.
Ты выберешь «Мэри Глостер» — мной приказ давно
уже дан, —
Ее приведут в порядок, и ты выйдешь на ней
в океан.
Это чистый убыток, конечно, пароход без дела
держать. . .
Я могу платить за причуды — на нем умерла твоя
мать.
Близ островов Патерностер, в тихой, синей воде
Спит она. . . я говорил уж. . . я отметил на карте —
где.
(На люке она лежала, волны масляны и густы),
Долготы сто восемнадцать и ровно три широты.
Три градуса точка в точку — цифра проста и ясна,
И Мак-Эндру на случай смерти копия мною дана.
Он глава пароходства Мáори, но отпуск дадут
старине,

Если ты напишешь, что нужен он по личному делу
мне.
Для них пароходы я строил, аккуратно выполнил всё,
А Мака я знаю давненько, а Мак знал меня. . . и ее.
Ему я передал деньги, — удар был предвестник
конца, —
К нему ты придешь за ними, предав глубине отца.
Недаром ты сын моей плоти, а Мак мой старейший
друг,
Его я не звал на обеды, ему не до этих штук.
Говорят, за меня он молился, старый ирландский
шакал!
Но он не солгал бы за деньги, подох бы, но не
украл.
Пусть он «Мэри» нагрузит балластом — полюбуешься,
что за ход!
На ней сэр Антони Глостер в свадебный рейс пойдет.
В капитанской рубке, привязанный, иллюминатор
открыт,
Под ним винтовая лопасть, голубой океан кипит.
Плывет сэр Антони Глостер — вымпела по ветру
летят —
Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.
Он создал себя и мильоны, но это все суета,
И вот он идет к любимой, и совесть его чиста!
У самого Патерностера — ошибиться нельзя никак. . .
Пузыри не успеют лопнуть, как тебе заплатит Мак.
За рейс в шесть недель пять тысяч, по совести —
куш хорош,
И отца предав океану, ты к Маку за ним придешь.
Тебя высадит он в Макассаре, и ты возвратишься
один,
Мак знает, чего хочу я. . . И над «Мэри» я —
господин!

Твоя мать назвала б меня мотом — их еще тридцать шесть — ничего!
Я приеду в своем экипаже и оставлю у двери его.
Всю жизнь я не верил сыну — он искусство и книги любил,
Он жил за счет сэра Антони и сердце сэра разбил.
Ты даже мне не дал внука, тобою кончен наш род...
Единственный наш, о матерь, единственный сын наш — вот!
Харвард и Тринити-колледж — а я сна не знал за барыш!
И он думает — я сумасшедший, а ты в Макассаре спишь!
Плоть моей плоти родная, аминь во веки веков!
Первый удар был предвестник, и к тебе я итти был готов.
Но — дешевый ремонт дешевки — сказали врачи: баловство!
Мэри, что ж ты молчала? Я тебе не жалел ничего!
Да, вот женщины... Знаю... Но ты ведь бесплотна теперь!
Они были женщины только, а я — мужчина. Поверь!
Мужчине нужна подруга, ты понять никак не могла,
Я платил им всегда чистоганом, но не говорил про дела.
Я могу заплатить за прихоть! Что мне тысяч пять
За место у Патерностера, где я хочу почивать?
Я верую в Воскресенье и Писанье читал не раз,
Но Уокингу я не доверюсь: море надежней для нас
Пусть сердце, полно сокровищ, идет с кораблем ко дну.
Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
Буду пить из родного колодца, целовать любимый рот,

Подруга юности рядом, а других пусть чорт поберет!
Я лягу в вечной постели (Дикки сделает, не
предаст!)
Чтобы был диферент на нос, пусть Мак разместит
балласт.
Вперед, погружаясь носом, котлы погасив, холодна. . .
В обшивку пустого трюма глухо плещет волна,
Журча, клокоча, качая, спокойна, темна и зла,
Врывается в люки. . Все выше. . . Переборка сдала!
Слышишь? Все затопило, от носа и до кормы.
Ты не видывал смерти, Дикки? Учись, как уходим
мы!

ТОМЛИНСОН

На Берклей-сквере Томлинсон скончался в два часа.
Явился Призрак и схватил его за волоса,
Схватил его за волоса, чтоб далеко нести,
И он услышал шум воды, шум Млечного пути,
Шум Млечного пути затих, рассеялся в ночи,
Они стояли у Ворот, где Петр хранит ключи.
«Восстань, восстань же, Томлинсон, и говори скорей,
Какие добрые дела ты сделал для людей,
Творил ли добрые дела для ближних ты иль нет?»
И стала голая душа белее, чем скелет.

«О, — так сказал он, — у меня был друг любимый там,
И если б был он здесь сейчас, он отвечал бы вам».
«Что ты любил своих друзей, прекрасная черта,
Но только здесь не Берклей-сквер, а Райские врата.
Хоть с ложа вызван твой друг сюда — не скажет он ничего.
Ведь каждый на гонках бежит за себя, а не двое за одного».
И Томлинсон взглянул вокруг, но выигрыш был небольшой,
Смеялись звезды в высоте над голой его душой,
А буря мировых пространств его бичами жгла,
И начал Томлинсон рассказ про добрые дела.

«О, это читал я, — он сказал, — а это был голос
молвы,
А это я думал, что думал другой про графа из
Москвы».
Столпились стаи добрых душ, совсем как голубки,
И загремел ключами Петр от гнева и тоски.
«Ты читал, ты слыхал, ты думал, — он рек, — но
толку в сказе нет!
Во имя плоти, что ты имел, о делах твоих дай ответ!»
И Томлинсон взглянул вперед, потом взглянул
назад, —
Был сзади мрак, а впереди — створки небесных врат.
«Я так ощущал, я так заключил, а это слышал
потом,
А так писали, что кто-то писал о грубом норвежце
одном».
«Ты читал, заключал, ощущал, добро! Но
в райской тишине,
Среди высоких, ясных звезд, не место болтовне.
О, не тому, кто у друзей взял речи напрокат
И в долг у ближних все дела, от бога ждать наград.
Ступай, ступай к Владыке зла, ты мраку обречен,
Да будет вера Берклей-сквера с тобою, Томлинсон!»
. . . .
Его от солнца к солнцу вниз та же рука несла
До пояса Печальных звезд, близ Адского жерла.
Одни, как молоко, белы, другие красны как кровь,
Иным от черного греха не загореться вновь.
Держат ли путь, изменяют ли путь, никто не отметит
никак,
Горящих во тьме и замерзших давно, поглотил их
Великий мрак.
А буря мировых пространств леденила насквозь его,

И он стремился на Адский огонь, как на свет очага своего.
Дьявол сидел среди толпы погибших темных сил,
И Томлинсона он поймал и дальше не пустил.
«Не знаешь, видно, ты, — он рек, — цены на уголь, брат,
Что, пропуск у меня не взяв, ты лезешь прямо в Ад.
С родом Адама я в близком родстве, не презирай меня,
Я дрался с богом из-за него с первого же дня.
Садись, садись сюда на шлак и расскажи скорей,
Что злого, пока еще был жив, ты сделал для людей».
И Томлинсон взглянул наверх и увидел в глубокой мгле
Кроваво-красное чрево звезды, терзаемой в адском жерле.
И Томлинсон взглянул к ногам, пылало внизу светло
Терзаемой в адском жерле звезды молочное чело.
«Я любил одну женщину, — он сказал, — от нее пошла вся беда,
Она бы вам рассказала все, если вызвать ее сюда».
«Что ты вкушал запретный плод — прекрасная черта,
Но только здесь не Берклей-сквер, но Адские врата.
Хоть мы и свистнули ее, и она пришла, любя,
Но каждый в грехе, совершенном вдвоем, отвечает сам за себя».
И буря мировых пространств его бичами жгла,
И начал Томлинсон рассказ про скверные дела:
«Раз я смеялся над силой любви, дважды — над смертным концом,
Трижды давал я богу пинков, чтобы прослыть храбрецом».
На кипящую душу Дьявол подул и поставил остыть слегка:

«Неужели свой уголь потрачу я на безмозглого
дурака?
Гроша не стоит шутка твоя, и нелепы твои дела!
Я не стану своих джентльменов будить, охраняющих
вертела».
И Томлинсон взглянул вперед, потом взглянул назад,
Легион бездомных душ в тоске толпился близ
Адских врат.
«Это я слышал, — сказал Томлинсон, — за границею
прошлый год,
А это в бельгийской книге прочел покойный
французский лорд».
«Ты читал, ты слышал, ты знал, добро! Но начни
сначала рассказ, —
Из гордыни очей, из желаний плотских согрешил ли
ты хоть раз?»
За решетку схватился Томлинсон и завопил:
«Пусти!
Мне кажется, я чужую жену сбил с праведного
пути!»
Дьявол громко захохотал и жару в топки поддал:
«Ты в книге прочел этот грех?» — он спросил, и
Томлинсон молвил: «Да!»
А Дьявол на ногти себе подул, и явился взвод
дьяволят:
«Пускай замолчит этот ноющий вор, что украл
человечий наряд.
Просейте его между звезд, чтоб узнать, что стоит
этот урод,
Если он вправду отродье земли, то в упадке Адамов
род».
В аду малыши — совсем голыши, от жары им легко
пропасть,

Льют потоки слез, что малый рост не дает грешить
им всласть, —
По угольям гнали Душу они и рылись в ней без
конца,
Так дети шарят в вороньем гнезде или в шкатулке
отца.
В клочьях они привели его, как после игр и драк,
Крича: «Он душу потерял, не знаем, где и как!
Мы просеяли много газет и книг, и ураган речей,
И много душ, у которых он крал, но нет в нем души
своей.
Мы качали его, мы терзали его, мы прожгли его
насквозь,
И если зубы и ногти не врут, души у него не
нашлось».
Дьявол главу склонил на грудь и начал воркотню:
«С родом Адама я в близком родстве, я ли его
прогоню?
Мы близко, мы лежим глубоко, но когда он
останется тут,
Мои джентльмены, что так горды, совсем меня
засмеют.
Скажут, что я — хозяин плохой, что мой дом —
общежитье старух,
И уж, конечно, не стоит того какой-то никчемный
дух».
И Дьявол глядел, как отрепья души пытались
в огонь пролезть,
О милосердьи думал он, но берег свое имя и честь:
«Я, пожалуй, могу не жалеть углей и жарить тебя
всегда,
Если сам до кражи додумался ты?» и Томлинсон
молвил: «Да!»

И Дьявол тогда облегченно вздохнул, и мысль его
стала светла:
«Душа блохи у него, — он сказал, — но я вижу
в ней корни зла.
Будь я один здесь властелин, я бы впустил его,
Но Гордыни закон изнутри силен, и он сильней
моего.
Где сидят проклятые Разум и Честь, — при каждом
Блудница и Жрец,
Бываю там я редко сам, тебе же там конец.
Ты не дух, — он сказал, — и ты не гном, ты не
книга, и ты не зверь,
Не позорь же доброй славы людей, воплотись еще
раз теперь.
С родом Адама я в близком родстве, не стал бы
тебя я гнать,
Но припаси получше грехов, когда придешь опять.
Ступай отсюда! Черный конь заждался твоей души.
Сегодня они закопают твой гроб. Не опоздай!
Спеши!
Живи на земле и уст не смыкай, не закрывай очей
И отнеси Сынам Земли мудрость моих речей:
Что каждый грех, совершенный двумя, и тому и
другому вменен,
И . . бог, что ты вычитал из книг, да будет с тобой,
Томлинсон!»

БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест
они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный
господень суд.

Но нет Востока и Запада нет, что — племя, родина,
род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края
земли встает?

Камал бежал с двадцатью людьми на границу
мятежных племен,
И кобылу полковника, гордость его, угнал у
полковника он.

Из самой конюшни ее он угнал на исходе ночных
часов,
Шипы на подковах у ней повернул, вскочил и был
таков.

Но вышел и молвил полковничий сын, что
разведчиков водит отряд:
«Неужели никто из моих молодцов не укажет, где
конокрад?»

И Мохаммед Хан, Рессальдара сын, вышел вперед и
сказал:
«Кто знает ночного тумана путь, знает его привал.

Проскачет он в сумерки Абазай, в Бонаире он встретит
рассвет,
И должен проехать близ форта Букло, другого пути
ему нет.

И если помчишься ты в форт Букло, летящей птицы
быстрей,
То с помощью божьей нагонишь его до входа
в ущелье Джагей.

Но если он минул ущелье Джагей, скорей поверни
назад:
Опасна там каждая пядь земли, там Камала люди
кишат.

Там справа скала и слева скала, терновник и груды
песка. . .
Услышишь, как щелкнет затвор ружья, но нигде не
увидишь стрелка».

И взял полковничий сын коня, вороного коня своего:
Словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче
виселиц шея его.

Полковничий сын примчался в форт, там зовут его
на обед,
Но кто вора с границы задумал догнать, тому
отдыхать не след.

Скорей на коня и от форта прочь, летящей птицы быстрей,
Пока не завидел кобылы отца у входа в ущелье Джагей;

Пока не завидел кобылы отца, и Камал на ней скакал...
И чуть различил ее глаз белок, он взвел курок и нажал.

Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты...
«По-солдатски стреляешь, — Камал сказал, — покажи, как ездишь ты».

Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась,
Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.

Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей,
Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей.

Вот справа скала и слева скала, терновник и груды песка...
И трижды щелкнул затвор ружья, но нигде он не видел стрелка.

Юный месяц они прогнали с небес, зорю выстукал стук копыт,
Вороной несется как раненый бык, а кобыла как лань летит.

Вороной споткнулся о груду камней и скатился
в горный поток,
А Камал кобылу сдержал свою и наезднику встать
помог.

И он вышиб из рук у него пистолет, здесь не место
было борьбе,
«Слишком долго, — он крикнул, — ты ехал за мной,
слишком милостив был я к тебе.

Здесь на двадцать миль не сыскать скалы, ты здесь
пня бы найти не сумел,
Где, припав на колено, тебя бы не ждал стрелок
с ружьем на прицел.

Если б руку с поводьями поднял я, если б я опустил
ее вдруг,
Быстроногих шакалов сегодня в ночь пировал бы
веселый круг.

Если б голову я захотел поднять и ее наклонил
чуть-чуть,
Этот коршун несытый наелся бы так, что не мог бы
крылом взмахнуть».

Легко ответил полковничий сын: «Добро кормить
зверей,
Но ты рассчитай, что стоит обед, прежде чем звать
гостей.

И если тысяча сабель придут, чтоб взять мои кости
назад,
Пожалуй, цены за шакалий обед не сможет платить
конокрад;

Их кони вытопчут хлеб на корню, зерно солдатам пойдет,
Сначала вспыхнет соломенный кров, а после вырежут скот.

Что ж, если тебе нипочем цена, а братьям на жратву спрос, —
Шакал и собака отродье одно, — зови же шакалов, пес.

Но если цена для тебя высока, людьми и зерном, и скотом,
Верни мне сперва кобылу отца, дорогу мы сыщем потом».

Камал вцепился в него рукой и посмотрел в упор.
«Ни слова о псах, — промолвил он, — здесь волка с волком спор.

Пусть будет тогда мне падаль еда, коль причиню тебе вред,
И самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет».

Легко ответил полковничий сын: «Честь рода я храню,
Отец мой дарит кобылу тебе, — ездок подстать коню».

Кобыла уткнулась хозяину в грудь и тихо ласкалась к нему.
«Нас двое могучих, — Камал сказал, — но она верна одному...

Так пусть конокрада уносит дар, поводья мои
с бирюзой,
И стремя мое в серебре, и седло, и чапрак узорчатый
мой».

Полковничий сын схватил пистолет и Камалу подал
вдруг:
«Ты отнял один у врага, — он сказал, — вот этот
дает тебе друг».

Камал ответил: «Дар за дар и кровь за кровь
возьму,
Отец твой сына за мной послал, я сына отдам ему».

И свистом сыну он подал знак, и вот, как олень со
скал,
Сбежал его сын на вереск долин и, стройный, рядом
встал.

«Вот твой хозяин,—Камал сказал, — он разведчиков
водит отряд,
По правую руку его ты встань и будь ему щит и
брат.

Покуда я или смерть твоя не снимем этих уз,
В дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним
союз.

И хлеб королевы ты будешь есть и помнить, кто ей
враг,
И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг.

И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою,
И, может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю».

Друг другу в глаза поглядели они, и был им неведом
страх,
И братскую клятву они принесли на соли и кислых
хлебах,

И братскую клятву они принесли, сделав в дерне
широкий надрез,
На клинке, и на черенке ножа, и на имени бога чудес.

И Камалов мальчик вскочил на коня, взял кобылу
полковничий сын,
И двое вернулись в форт Букло, откуда приехал один.

Но чуть подскакали к казармам они, двадцать сабель
блеснуло в упор,
И каждый был рад обагрить клинок кровью жителя
гор...

«Назад, — закричал полковничий сын, — назад, и
оружие прочь!
Я прошлою ночью за вором гнался, я друга привел
в эту ночь».

*О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест
они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный
господень суд.*

*Но нет Востока и Запада нет, что — племя, родина,
род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли
встает?*

БАЛЛАДА О ЦАРСКОЙ МИЛОСТИ

Абдур Рахман, вождь Дурани, о нем повествуем мы,
От милости его дрожат Хайберские холмы,
Он с Юга и с Севера дань собрал — слава его, как пожар,
И знают о том, как он милосерд, и Балх, и Кандагар.

У старых Пешаверских врат, где все пути идут,
С утра на улице вершил Хаким Кабула суд.
И суд был верен, как петля, и скор, как острый нож;
И чем длиннее твой кошель, тем дольше ты живешь.
Там был неверный — руку он на Юзуфсай занес,
И повели его на смерть, чтоб был наказан пес.
Случилось, — ехал мимо Царь, когда взвился кинжал,
И каффир, бросившись к коню, о жизни вопиял.

И молвил Царь: «В позоре смерть страшна! Надейся, сын!
Ждет честь тебя!» И он позвал Начальника дружин,
Яр-хана, отпрыска Царей, так говорил народ,
И Царь его глубоко чтил, — а это в Смерти мед.
И Дауд-шах, его отец, не наклонял чела,
И кровь вельможных Дурани в его груди текла.
Ему, чью гордость не смирят ни Ад, ни Небеса,
Царь повелел стать палачом презреннейшего пса.

«Бей! — молвил Царь. — Ты кровь Царей! И
смертью он почтен».
И громче, чтоб слыхал народ: «Не бойся! Связан он».
Яр-хан занес хайберский нож, ударил тем ножом:
«О, человек, ты так хотел! Зарезан пес Царем».

Абдур Рахман, вождь Дурани, повсюду себя продает,
Перед стягом Гильджи, опустив ножи, народы
откроют рот,
Это пушек спор средь Хайберских гор, и Гератцы
бегут в грязи,
Вы слышали песнь: Доколь? Доколь? О, волки
Абази!

Еще не занял караул в ту ночь свои посты,
Когда Хаким промолвил так: «Царь, не боишься ты?
Ты знал... ты слышал?..» Смолкла речь перед
лицом Царя.
Афганский Царь сказал в сердцах: «Народом
правлю я!
Мой путь — он мой, ты ведай твой, — а в тишине
ночей
Подумай, кто меня просил о голове твоей».

Когда замкнулись ворота и смолкнул муэдзин,
В беседке посреди садов Царь возлежал один.
И в сердце тьмы, когда луна кончает свой дозор,
Яр-хан, таясь, прошел к Царю, чтоб смыть с себя
позор.
За ним бежали дети вслед, когда он несся вскачь,
Дурные женщины ему кричали вслед: «Палач!»

Но кто-то возле стен схватил его из темноты,
Царь молвил за его плечом: «Мертвец! Что вздумал
ты?

Не дело днем шутить с Царем, а ночью ждать добра,
И то, что ты несешь в руке, куда острей пера.
Но, если бог даст сил тебе, то вот пройдет три дня,
Ты будешь милости просить и в муке звать меня.
Я милосерд, и это ты скорее всех поймешь.
Повремени же, мой мясник, — не для меня твой нож!»

Абдур Рахман, вождь Дурани, спокоен раз навсегда,
Но Гильджи не ждет, и растает лед, и плотины сорвет
вода.
Нет врагам числа, ни одна стрела не попадает в цель,
Вы слышали песнь: Доколь? Доколь? О, волки
Зука-Хель!

Он был каменьями побит на свалке в час зари,
Согласно писанным словам: «Чтоб был он жив,
смотри».
И камни выросли над ним курганом средь полей,
И, если шевелился он, бил новый град камней.
Один стерег тот страшный холм, где умирала тварь,
Его Глашатаем Царя прозвал в насмешку Царь.

То было на вторую ночь, был праздник Рамазан,
И страж, припав к земле, слыхал, что говорит
Яр-хан.
Из исковерканной груди, хрипя, срывался звук:
«Созданье божье, помоги, избавь меня от мук!»

И, смерти не боясь, они нашли Царя средь жен:
«Ты, покровитель бедняков, скажи, чтоб умер он».

Неспешно прозвучал ответ: «Пусть он дождется дня,
Ночь коротка, и должен он благословлять меня».

Он трижды ночью звал и раз, когда взошла заря:
«Созданье божье, помоги и тем прославь Царя!»

И вот в час утренних молитв его пролилась кровь,
И, слыша щелканье курков, Царя он славил вновь.

Сложили песнь о том певцы, чтоб слышали Моря,
Чтоб пел и день и ночь весь мир о милости Царя.

Абдур Рахман, вождь Дурани, мы повествуем о нем,
Растворил он пасть, и набили всласть ее золотым зерном,
Вы знаете плод от его щедрот, как сладок каждый дар,
Вы слышали песнь: Доколь? Доколь? О, Балх и Кандагар!

БАЛЛАДА О ЦАРСКОЙ ШУТКЕ

Когда в пустыне весна цветет,
Караваны идут сквозь Хайберский Проход.
Верблюды худы, но корзины тучны,
Вьюки переполнены, пусты мошны,
Засыпаны снегом, долгие дни
Спускаются с Севера в город они.

Была бирюзовой и хрупкой тьма,
Караван отдыхал у подножья холма.
Над кухней стоял синеватый дымок,
И о гвозди палатки стучал молоток,
И косматые кони кое-где
Тянули веревки свои к еде,
И верблюды, глухой издавая звук,
Растянулись на четверть мили на Юг,
И персидские кошки сквозь сизый мрак
Фыркали злобно с тюков на собак,
Торопили обед то там, то тут,
И мерцали огни у форта Джемруд.
И несся на крыльях ночных ветров
Запах верблюдов, курений, ковров,
Дым, голоса и звук копыт,
Говоря, что Хайберский торг не спит.

Громко кипел мясной котел,
Отточили ножи, — и я пришел

К погонщику мулов Магбуб-Али,
Который уздечки чинил вдали
И полон был сплетен со всей земли.
Добрый Магбуб-Али говорит:
«Лучше беседа, когда ты сыт».
Опустили мы руки, как мудрецы,
В коричневый соус из жирной овцы,
И тот, кто не ел из того котла,
Не умеет добра отличить от зла.

Мы сняли с бород бараний жир,
Легли на ковры, и наполнил нас мир,
На Север скользил разговор и на Юг,
И дым ему вслед посылал чубук.

Великие вещи, все, как одна:
Женщины, Лошади, Власть и Война.
О войне мы сказали немало слов,
Я слышал вести с русских постов:
Наточенный меч, а речи, что мед,
Часовой в шинели средь тихих болот.
И Магбуб-Али глаза опустил,
Как тот, кто намерен басни плести,
И молвил: «О русских что скажешь, друг?
Когда ночь идет, все серо вокруг.
Но мы ждем, чтобы сумрак ночи исчез
В утреннем зареве алых небес.
Прилично ли, мудро ли, так повторю,
О врагах Царя говорить Царю?
Мы знаем, что скрыли Небо и Ад,
Но в душу Царя не проникнет взгляд.
Незваного друга проклял бог,
Вали Дад подтвердить бы это мог».

Был отец его щедр на слова и дела,
Кудахчущей курицей мать была,
И младенец рос среди стариков
И наследовал горе несчетных слов
И с ним безумье, — и вот дерзнул
Ждать, что его почтит Кабул.
Побывал далеко честолюбец тот,
На границе, где серых шинелей взвод.
Я тоже там был, но я счастлив,
Ничего не видал, молчал — и жив.
Как дыханье, ловил он молвы полет,
Что «этот знает», что «молвил тот»,
Басни, что мчались из уст к устам,
О серых шинелях, идущих к нам, —
Я слышал тоже, — но эта молва
Исчезает весной, как сухая трава.

Богом забыт, нетерпеньем объят,
Обратно в столицу скакал Вали Дад,
В полный Дурбар, где был весь двор,
И с Вождем Войны Царь вел разговор.
Густую толпу растолкал он плечом
И о чем слыхал, рассказал о том.
Красный Вождь улыбнулся, ни дать, ни взять,
Так на лепет сына смеется мать,
Но тот, кто б смеялся, смеялся зря
Перед темным, как смерть, лицом Царя.
Не хорошо, придя в Дурбар,
Голосить о войне, как будто пожар.
К цветущей айве на старый вал
Его он отвел и там сказал:
«Будут хвалить тебя вновь и вновь,
Доколе за сталью следует кровь.
Русский идет с войной впереди.

Ты осторожен. Так ты и жди!
Смотри, чтоб на дереве ты не заснул,
Будет недолгим твой караул.
Русский идет, говоришь ты, на нас.
Будет, наверно, он здесь через час.
Жди, карауль! А завидишь гостей,
Громче зови моих людей».

Прилично ли, мудро ли, так повторю,
О его врагах говорить Царю?
Стража, чтоб он не сбежал, стерегла,
Двадцать штыков — вокруг ствола.
И сыпался цвет, как снежинки, бел,
Когда, содрогаясь, он вниз глядел.
И волею бога — велик он один! —
Семь дней над судьбою он был господин.
Потом обезумел; со слов людей,
Он прыгал медведем среди ветвей,
И ленивцем потом, и сорвался вниз,
И, стеная, летучей мышью повис.
Развязалась веревка вокруг руки,
Он упал, и поймали его штыки.

Прилично ли, мудро ли, так повторю,
О врагах Царя говорить Царю?
Мы знаем, что скрыли Небо и Ад,
Но в душу Царя не проникнет взгляд.
Кто слышал о серых шинелях, друг?
Когда ночь идет, все серо вокруг.
Великие вещи, две, как одна:
Во-первых — Любовь, во-вторых — Война,
Но конец Войны затерялся в крови, —
Мое сердце, давай говорить о Любви!

МИРОВАЯ С МЕДВЕДЕМ

Ежегодно, схватив винтовки, белые люди идут
Мютианским проходом в долины поохотиться там
и тут,
Ежегодно сопровождает беспечных белых людей
Матун, ужасный нищий, забинтованный до бровей.

Беззубый, безгубый, безносый, с разбитой речью,
без глаз,
Прося у ворот подаянье, бормочет он свой рассказ,—
Снова и снова все то же с утра до глубокой тьмы:
«Не заключайте мировой с Медведем, что ходит
как мы.

«Кремень был в моей винтовке, был порох насыпан
в ствол,
Когда я шел на медведя, на Адам-зада я шел.
Был последним мой взгляд на деревья, был послед-
ним на снег мой взгляд,
Когда я шел на медведя полвека тому назад.

Я знал его время и пору, он — мой; и дерзок и смел,
Он ночью в маисовом поле мой хлеб преспокойно ел.
Я знал его хитрость и силу, он — мой; и тихонько
брал
Овец из моей овчарни, пока я крепко спал.

Из каменной пещеры, где гордых сосен ряд,
Тяжелый от обеда, бежал медведь Адам-зад,
Ворча, рыча, бушуя, вдоль голых диких скал.
Два перехода на север, и я его догнал.

Два перехода на север, к концу второго дня
Был мной настигнут Адам-зад, бегущий от меня.
Был заряд у меня в винтовке, был курок заране
взведен,
Как человек, надо мною внезапно поднялся он.

Лапы сложив на молитву, чудовищен, страшен, кос-
мат,
Как будто меня умоляя, стоял медведь Адам-зад.
Я взглянул на тяжелое брюхо, и мне показался
теперь
Каким-то ужасно жалким громадный, молящий
зверь.

Чудесной жалостью тронут, не выстрелил я... С тех
пор
Я не смотрел на женщин, с друзьями не вел раз-
говор.
Подходил он все ближе и ближе, умоляющ, жалок и
стар,
От лба и до подбородка распорол мне лицо удар...

Внезапно, безмолвно, дико железною лапой смят,
Перед ним я упал, безликий, полвека тому назад.
Я слышал его ворчанье, я слышал хруст ветвей,
Он темным годам оставил меня и жалости людей.

С ружьями новой системы идете вы, господа,
Я щупал, как их заряжают, они попадают всегда.

Удача — винтовкам белых, они приносят смерть,
Заплатите, и я покажу вам, что может сделать Медведь!»

Мясо, как головешка, в морщинах, в шрамах, в узлах —
Матун, ужасный нищий, угощает на совесть и страх.
«Заберитесь в полдень в кустарник, его подымите там, —
Пусть он бушует и злится, идите за ним по пятам!

(Заплатите — надену повязку.) Наступает страшный миг,
Когда на дыбы он встанет, шатаясь, словно старик,
Когда на дыбы он встанет, человек и зверь зараз,
Когда он прикроет ярость и злобу свинячьих глаз,

Когда он сложит лапы, с поникшей головой.
Вот это минута смерти, минута Мировой».

Беззубый, безгубый, безносый, прося прохожих подать,
Матун, ужасный нищий, повторяет все то же опять.

Зажав меж колен винтовки, руки держа над огнем,
Беспечные белые люди заняты завтрашним днем.

Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы:
«Не заключайте мировой с Медведем, что ходит как мы».

БАЛЛАДА О «БОЛИВАРЕ»

Мы к докам бредем обратно, отчаянных семь ребят,
Под хмельком, по Рэдклифской дороге, поминая кромешный ад.
Дайте, девки, джина еще нам, нынче кружка — нам лучший дар,
Это мы через зимнее море протащили наш «Боливар».

Мы вышли из Сондерлэнда, груженные грузом рельс,
Мы воротимся в Сондерлэнд, переменивши фрахт,
Мы вышли из Сондерлэнда, семь дней и ночей наш рейс
Сопровождала буря, мы шли в штормовых ветрах.

Расшатаны все заклепки, по ветру рвется дым,
Весь уголь на палубе свален, и груз грохочет под ним.
Протекавшего как корзину, рассыпавшего пену и пар, —
Вот каким через зимнее море провели мы наш «Боливар».

Один за другим скрывались маяки, мерцая подряд,
Угля нехватало, пище не позавидует чорт,
При каждом ударе шквала переборки во-всю трещат,
Мы прошли подводные рифы с креном на левый борт.

Шатался побитою уткой, что рвется опять в полет;
Гремел он, как адская кузня, делая поворот;
Гнулись труба и мачта, урагана встретив удар,
Вот каким через зимнее море провели мы наш
«Боливар».

Скоро ли он погибнет, мы заводили спор,
Но прыгал он против бури, обрушившейся врасплох,
И когда, как пьянчужка, море волной колотило борт,
Мы верили — держит палец на нашем штурвале
бог. . .

По избитой ползая палубе, щели мы забивали углем,
Мороз и соль разъедали стертые руки огнем;
Уж лучше Страшный суд, чем еще раз такой
кошмар,
И все-таки через море мы провели «Боливар».

И вверх и вниз летели, соленую взвеяв пыль,
Захватывало дыханье, к небу швыряло нас, —
Но деньги, данные Ллойду, ловили увертливый киль,
И звезды, кружась, плясали в самый опасный час.

Усталость шатала ноги, — урвать бы минуту сна!
Мы слышали: ржавые клепки вытаскивала волна;
Как прыгала компаса стрелка — словно ловит свой
хвост ягуар!
Но через зимнее море провели мы наш «Боливар».

Однажды в смятеньи ночи, когда волн неслась
карусель,
Мы увидели, одуревшие от усталости и работ, —

Проклятый корабль пассажирский, сверкавший как «Гранд-отель»,
Прошел, издеваясь над нами, попавшими в водоворот.

Когда он прошел стороною, с усмешкой шкипер сказал:
«Ребята, прочь сбиты снасти и к чорту пошел штурвал!
Впрягись в рулевые цепи!» Через Билбао Бар
Мы провели против ветра в упряжи «Боливар».

Дырявую вдрызг посудину заклепывая смолой,
Шли мы по расписанью в неравной борьбе с волной.
Груза сверх меры, рук нехватало. Не веря ни в сон, ни в чох,
Мы причастились шторма, который послал нам бог.

Мы к докам бредем обратно, отчаянных семь ребят,—
Под хмельком, по Рэдклифской дороге, поминая кромешный ад.
В преисподней своими руками загребая хозяину жар,
Провели мы по зимнему морю в сохранности «Боливар».

СТИХИ О ТРЕХ КОТИКОЛОВАХ

В далеких краях, в японской стране,
Где бумажные фонари,
И судовые команды пьют
У Блэдстрит-Джо до зари,
В сумерках, когда морской бриз
Приносит из гавани чад,
И Иокогамской бухты отлив
Спадает, буями бренча, —
В харчевне Киско Божьей росы
Повторяют, кружкой гремя,
Про скрытую битву у скрытых скал,
Когда «Балтик» от «Норзернлайт» бежал,
А «Штральзунд» дрался с двумя.

Подтвержденные пулей и сталью, таковы законы Москвы:
Котиков на Командорских трогать не смеете вы.

Там, где море меж отмелей бродит и шторм в непогоду лют,
Где песцов голубых разводят, — там голышиков[1] матки ждут;

---

[1] Голышики — детеныши котиков.

Когда матки котятся на берегу ежегодно весной, —
Секачи[1] из моря выходят, ревя, толпа за толпой;

И как только сентябрьские штормы похоть их укротят,
В моря секачи уходят по скрытым тропам назад.

И темны лежат, и голы лежат, гнезда птиц, и дюны, и лед,
И мятелью томим, надо льдами зим сполох в ночи встает;

И бог, обрывающий айсберги и в море ведущий лед,
Слышит, как плачет лисенок и ветер в снегу поет.

Но жены наши любят мех, есть деньги у них, и вот
Шхуны в морях, запретных для всех, рискуют из года в год.

Японцы, британцы издалека вцепились Медведю в бока,
Много их, но наглей других — воровская янки рука.

Курильскими водами «Норзернлайт» шел сквозь туман и мрак,
Неся на штирборте печную трубу и русский на фоке флаг.

(«Балтик», «Штральзунд» и «Норзернлайт» — их ход крейсерам известен,
Одного поля ягода, воры, они ускользали вместе).

---

[1] Секачи — котики самцы.

К песчаной косе «Норзернлайт» пришел, но «Балтик» был уже там,
Секачей глушила команда, и рев шел по берегам, —

Пятнадцать сотен шкур на песке, цельный мех, пушнинный стан;
Когда «Норзернлайт» в бухту вошел, вошел вместе с ним туман.

«Балтик», созвав своих людей, поспешил уйти от беды, —
С пушкою схожа печная труба, если смотреть сквозь дым,

(Грустнее, чем смерть, — потеряв корабль и груз, что был на борту,
Из-за контрабанды лечь во Владивостокском порту).

Как кролик в терновник ныряет, так нырнул он в туман морской,
И «Норзернлайт» шлюпки на берег шлет за добычею воровской.

Они не успели доставить груз, не приоткрыли люк,
Как белый призрак — крейсер вблизи они увидали вдруг.

На фоке флаг, и орудий по борту три или пять,
От соли белой была труба, но пара не видать.

Нет времени выбрать якорь и, обрубив канат,
На гусиных крыльях «Норзернлайт» в море летит назад.

(Ибо таков закон Москвы, я худшую смерть предпочту
Труду на ртутных рудниках, где зубы крошатся во рту).

Они отплыли всего на полмили, не слышен выстрелов гром,
Вдруг шкипер хлопнул себя по ляжке и погрозил кулаком.

«Блеф, нас на блеф поймали, — взревел он, — не будь я Том Холл,
Вора послали воров ловить, и вор нас всех обошел!

Клянусь орегонской снастью, твоим рангоутом, Мэн,
Что отнял нашу добычу бродяга Рубэн Пэн.

Шхуну разделал он ловко — бревна на борт, и чорт ей не брат,
Но рубку «Штральзунда» запомнил я до твоих волнорезов, Ад!

Мы с тобой в Балтиморе встречались, нас помнит бостонский мол,
Но худший твой день, Рубэн Пэн, это тот, когда ты сюда пришел.

Тот день, когда ты добычу взять хотел, дружок, задарма,
С трубой из простого брезента, с орудьями из дерма.

Эй! Мчим скорей, сквозь туман морей, «Балтик» назад зовем,
В бухту вернемся и вступим в игру, на одного вдвоем!»

И вот сиреной, рогом, браконьерским зовом морей
Они «Балтик» открыли в тумане, в оснастке угрюмых рей,

Вслепую по водоворотам, вслепую ползли назад,
Пока услыхали — гик скрипит и цепи «Штральзунда» гремят.

Ничком меж шлюпок они легли, оружье под рукой,
И — «согласен мех делить, Рубэн Пэн, иль принимаешь бой?»

Оскалив зубы, смеялся Пэн, кривой обнажая нож:
«Есть! Шкура за шкуру и все, что есть, за жизнь свою даешь!

Но у меня шесть тысяч шкур, и Иеддо давно меня ждет,
Власть божья и власть людская — до пятидесятых широт;

Так с миром идите в море, грузите трюмы вдвойне,
Я к вашим котикам буду добр — убью, сколько нужно мне».

Затворы защелкали в ответ, приклады стукнули враз,
Складка за складкой влажный туман скрыл все от вражьих глаз,

Складка за складкой, слезный туман кутал ярость плащом,
Винтовки у вантов в густой туман хлестали бледным огнем.

Били пули в обшивку и борт, щепки летели на ют
(Не дробью птичьей в морях добычу котиколовы
бьют).

Свинцовый дым нависал тяжело, голубел у самых
вод,
На «Балтике» три, на «Штральзунде» два списано
было в расход.

В тумане таком руки не видать, человек в тумане —
тюк,
Но, стон иль крик заслышав, они стреляли на звук.

Один имя бога призывал, его проклинал другой,
Но ружейный залп и тем и другим вечный дарил
покой.

А в перерыве, в тишине скрипел чуть слышно руль,
И каждый старался тише дышать, остерегаясь пуль;

Рука у курка, слух напряжен, злобой глаза налились,
И ноги расставлены широко, чтоб не качал бриз.

И все услыхали сквозь туман хрип у «Штральзунда»
рей,
И все услыхали, как Рубэн Пэн плачет над смертью
своей:

«Пройдут приливы Фенди Рейс, а я не пройду
никогда
И не увижу следов на песке, когда спадет вода,

И тралеров я не увижу, сносимых с отмелей прочь,
Огней судов я не встречу, летящих по Зунду в ночь.

О горе мне, горе, в пустынном море, в схватке я смерть нашел,
Но по законам людским и божьим ты будешь висеть, Том Холл!»

У поручней стоял Том Холл, сказал: «Твое слово вот:
Власть божья и людская власть — до пятидесятых широт.

Ступай, ступай живее в рай, предстанешь пред богом гол,
Я буду добр к твоим вдовам, Руб, сколько б их ни нашел».

Вдруг с палубы «Штральзунда» грянул выстрел впотьмах,
И сквозь дым и шум пуля дум-дум ударила Тома в пах.

Хрипя, Том Холл свалился, за шкоты цепляясь, и вот:
«Руб, подожди, — он молвил, — нас дьявол вместе зовет.

Дьявол нас тянет в этот отлив, Поля охоты нас ждут,
И мы предстанем пред яростью божьей, как голышики предстают.

Ребята, кладите винтовки, пулям довольно петь,
Отвоевали мы наши войны, дайте нам умереть.

Эй там, на корме, отставить! «Балтик», к отбою приказ!
Хоть все вы пойдете в пекло, но раньше пустите нас».

И не было слов, но густо и быстро в мглистый
покой
По замасленным декам стучала кровь, мешаясь
с росой,

И зыбь бросала шхуны, бортом о борт стуча,
Но в молчании все стояли, чувствуя смерть у плеча.

И Рубэн Пэн прохрипел: «Тлен, душит меня мгла,
Для того ль тридцать лет провел я в морях, чтоб
смерть во мраке пришла?

Проклятье моей работе, уловкам, что всем по плечу!
Я смерть получил, где хлеб получал, но смерти
слепой не хочу.

Проклятый туман! Ужель все ветра этот забыли
путь,
Чтоб сдуть пелену с моей груди и дать мне вдаль
взглянуть?»

Как рваный парус, белый туман, разодравшись,
взлетел налегке,
И все увидали солнце в воде и котиков на песке.

Над бухтой мгла, и отмель шла навстречу стальным
волнам,
И стояли, бледны на взлетах волны, команды по
сторонам.

И там и тут лужи текут, радужны и красны,
И вверх и вниз золото гильз бренчит меж брусьев
сосны,

И ветер трупы как бревна катал, глухой по палубам стук,
И каждый увидел при свете дня дело своих рук.

Легкий бриз над реями пел, полоскала парус вода,
Но у рулей никто не стоял, в дрейфе лежали суда.

И с хрипом Рубэн душу свою отдал соленой волне.
«Уже отошел? — спросил Том Холл. — Пора умирать и мне».

И были полны его глаза сном и предсмертной тоской,
Он бормотал, точно бредил в ночи, рану зажав рукой:

«О, не приносит с собой добра западный ветер морей.
Палубы мыть! Они слишком красны, — и прочь отсюда скорей!

«Балтик», «Штральзунд» и «Норзернлайт», честно делите мех.
Вас встретят флот и Толстый Мыс, но встретят они не всех.

Холл вел себя плохо на суше, морской презирал закон,
Ему надоели вахты, только спать теперь хочет он.

Он не будет ползать по морю, где он знал лишь горький труд,
Он уходит в Поля охоты, куда голыши идут.

На запад вам плыть, на юг вам плыть, за край туманной земли,

Японским девкам скажите, чтоб свечи за Тома жгли.
Но не бросайте его с ядром за борт в холодный вал,
На отмель несите его умирать, как Беринг умирал.

И рядом Рубэна Пэна — по правилам битва шла!
И оставьте нас побеседовать двух, сделавших
столько зла. . .»

Малым вперед, как вел их лот, солнце в тумане все
дни, —
Из мрака в мрак, на риск каждый шаг, шли, как
Беринг, они.
И вел их свет ночных планет, карта северных звезд,
На норд-норд-вест, Западный Крест, за ним Близне-
цов мост.

Эти точки достаточно точно определяют путь,
В дни, когда маток на лежбище секачи ведут отдохнуть.
Айсбергов треск и китов плеск чуяли сквозь туман,
И котиков рев от берегов, слышный и в ураган,
И ярость ветров меж островов (ее там зовут
«пургой»),
Где на север — остров Георгия, на запад — Павел
Святой.
И здесь и там встречным судам привет слал
пиратский флот,
Потому что шхуны в этих морях рискуют из года
в год.

И в Иокогамском порту повторяют, кружкой
гремя,
Про скрытую битву у скрытых скал,
Когда «Балтик» от «Норзернлайт» бежал,
А «Штральзунд» дрался с двумя.

СТИХИ О ТРЕХ КАПИТАНАХ[1]

...Стояли вечером тогда
На якоре у Лондона Трех капитанов суда;

И первый был Северный адмирал, от Ская до
Фэрса один,
И второй был Вэссекских вод и округи всей
Господин,
А третий Хозяин Темзы был, всей рекою владел,
И был он флота Капеллан и был неслыханно смел.
Пушки с серых высоких бортов глядели, полны
угроз,
Когда новость о приватире[2] торговый фрегат
привез.
Ему порвал весь такелаж северных ветров полет,
Его борта одела трава, что в восточных морях
растет.
Вправо и влево качала его приливная волна,
А шкипер на люке сидел и глядел в трюм, пустой
до дна.

---

[1] В этой балладе говорится об одном из подвигов знаменитого Поля Джонса, американского пирата. Она основана на факте.

[2] Быстроходный парусный корабль, вооруженный за счет какого-нибудь морского авантюриста, получившего от правительства патент на право ведения крейсерской войны при условии, что все захваченное им поступит в его собственность в виде «приза».

«Закону платил я дань, — он сказал, — но где Закон, что вам мил?
В языческих водах остался я цел, в христианских обобран был.
Лакедивские ульи коптили вы, как мы вшей выжигаем легко,
Не боимся мы Галланга кормы и ныряющей джонки Пей-Хо!
Я не видел нигде парусов на воде, океан был чист и сер,
Вдруг попался мне янки, белый бриг, идущий на Финистер.
Были скрыты чехлами пушки на нем, обманывая взор,
Говорили сигналы, что это купец, из Сэнди-Хука бегущий в Нор.
Не реял на нем пиратский стяг, черен иль ярко-ал,
То звездный флаг над ним летел, то гюйсом он щеголял.
Он команду мою взял будто взаймы, мне про Закон говоря,
Но когда я ее попросил назад, он сказал, что она не моя.
Он взял попугайчиков моих, что так развлекали нас,
Из плетеных корзин ряды апельсин и незрелый еще ананас,
И взял он с пряностями мешки, что я вез из далекой страны,
И моих языческих богов, — уж они-то ему не нужны!
Из мачты не станет он делать гик, из рубки строить вельбот,
Фок-мачту взял и рубку украл — янки, дьявольский род!

Я драться не мог: надвигалась тьма, и океан
бушевал,
Я дал по нем выстрел за грубый увод и второй за
то, что он лгал.
Имей я орудья (не только товар) защитой от
вражеских сил,
Я бы со шканец согнал его и на реи работать
пустил,
Я бы уши его пригвоздил к шпилю и отпилил их,
как есть,
И, посолив их в трюмной воде, сырыми заставил бы
съесть,
Я бы в шлюпку без весел его посадил, чтоб в ночи
он всплывал и тонул,
Привязал бы во тьме к его же корме, чтоб примани-
вать братьев-акул,
В шелуху какао его б завернул, нефтью облив его,
Чтобы, ярко-ал, он на мачте пылал, освещая мое
торжество,
Я бы сплел гамак из его бороды, а из кожи нарезал
полос,
Всю б команду вкруг посадил на бамбук, чтоб
в гниющее тело он врос,
Я бы кинул его возле мангровых рощ, на вязком,
илистом дне,
Приковав за ступню к его кораблю, в жертву
крабьей клешне!
В нем проказа внутри, хоть снаружи он бел, и может
учуять любой
Запах мускуса, что владелец рабов всегда несет за
собой».
На батареи шкипер взглянул, была их мощь
холодна,

И вежливо Три капитана в трюм глядели, пустой до дна,
И вежливо Три капитана так сказали с палубы в люк:
«Сэр, с этим купцом мы вели дела, он не мог измениться вдруг.
В ваших словах беззаконный дух, а вот что гласит Закон:
Хоть роду его Закон незнаком, но нас не трогает он.
Мы ему продаем паруса и рангоут — он отличную цену дает,
И он плачет о том, что Закон так слаб, когда к Финистеру идет.
Коль его и вы и другие еще клеймите позором везде,
То английский флот должен знать, что слывет он честным в нашей среде».
«А мне то что? — в высокий борт шкипер сердито вздохнул. —
Да разве янки нападет на семьдесят пушечных дул?
Иль я линейным кораблем с вашей кажусь кормы?
От заряженных пушек он бежит и грабит таких, как мы.
На Кокос-Киз Закон гласит, что белый сильнее всех,
Мы муку у негров не крадем, это их собственный грех.
Что ж! Как жвачку Закон жевать будет он, иль нацепит его на штурвал?
Значит, он со слезой ведет разбой? Чего ж ради он грабить стал?»
На несладком слове, на слове морском шкипер речь свою оборвал,
И увидел он — Капитана три флоту дают сигнал.
Три флага и два — белизна, синева — сказали, наконец:

«Мы слыхали рассказ, что есть враг у нас,
оказалось, он — просто купец».
Шкипер ко лбу приложил ладонь, мысом Горном
поклялся он:
«Капелланом Флота, чорт подери, мой вор
благословлен!»
Два флага и три, каждый флаг говорит и плещет и
рвется вперед:
«Мы тому купцу продавали рангоут, он отличную
цену дает».
Прищурил шкипер свой западный глаз и поклялся
тайфуном зло:
«В плащ невинности нарядили его, и чести его
тепло».
О мачты щелкал, взвиваясь, фал, вольно звенел
флагдук,
Шкипер, плюнув в трюм, до дна пустой, загрустил
о веревке вдруг.
По мачтам взлетал наверх сигнал вдоль строя
английских судов,
И шкипер своих ласкарийцев созвал и сказал им
несколько слов:
«Ну, ребята, теперь опять все наверх и в море, пока
не велят
Нам белить священный пиратский бриг или драить
ему канат.
Выбрать грота-фал, пока ветер не спал и волны
ласкают борт,
Линейным кораблем мы опять придем сюда
в английский порт:
Приведем мы сюда линейный корабль от носа и до
кормы,
И весть с собой привезем про разбой того приватира
мы.

Будет месть не плоха — его потроха на бизань мы повесим как флаг,
Голова сойдет его за диплот, нашей власти на море знак.
Потравить фока-шкот, море пеной встает и ударяет в борт,
Нам платят монетой белых людей, а червонец их черен и тверд.
Оранг-Лаутам и Клингам птица-фрегат занесет эту весть налету,
Как того, кто идет из языческих стран, обирают в христианском порту,
Как обирают в христианском порту, а Три капитана в ответ
Склоняют свой флаг пред владельцем рабов, говоря, что честней его нет».

БАЛЛАДА О НОЧЛЕЖКЕ ФИШЕРА

Когда глазастый выплыл труп
У стенки в тишине,
Чтоб в Гарден-Риче[1] затонуть,
А в Кеджери[2] сгнить вполне, —
Что Хюли[3] мели рассказал,
Мель рассказала мне.

Шли к Фишеру в ночлежный дом
Одни лишь моряки,
Со всех концов, из всех портов,
Кто с моря, кто с реки,
И были щедры на вранье,
Окурки и плевки.

О море пурпурном плели,
Где хлеб их был суров,
Плели про небо в вышине
И бег морских валов,
И черным им казался ром,
Когда он был багров.

Шел сказ про гибель и обман,
И стыд и страсть ко злу,

[1] Предместье Калькутты.
[2] Местечко в Индии.
[3] Река в Индии, на которой стоит Калькутта.

И подкрепляли речь они,
Произнося хулу,
Сквозь гром проклятий кулаки
Гремели по столу.

Датчанин, светлоглазый Ганс,
Могучий как атлет,
Носил на выпуклой груди
Ультрудин амулет —
Дешевый крест из серебра,
Спасающий от бед.

И был малаец Памба там,
Безухий Джэк урод,
Кок из Гвинеи, Карбой Джин,
Лус из Бискайских вод,
Кабатчик — Честный Джэк, что брал
Себе весь их доход.

И был там Залем Хардикер —
Бостонец, тощий хват,
Британец, русский, немец, финн,
Датчанин и мулат, —
В ночлежке Фишера моряк
Побыть без моря рад.

Без австриячки Анны здесь
Никто не пьет вина,
Из недр Галиции пришла
В Джаун-Базар[1] она,
Ей был знаком позора хлеб,
Бесчестия цена.

[1] Город в Малой Азии.

Десяток душ под каблуком,
Богат ее улов —
Браслеты, платья и чулки,
Дар многих моряков;
В те дни гулял с ней Хардикер,
Таков закон Портов.

И тут узнали моряки,
Что ни соблазн, ни клад
Мечты не могут удержать
И страстью не манят,
Когда датчанину в лицо
Вперяла Анна взгляд.

Жизнь — бой, ну что ж! бой — это нож
И в Ховра[1] и кругом,
И до заката тот умрет,
Кто щелкал пробкой днем,
В ночлежке Фишера горим
Мы все любви огнем.

Был холоден датчанин Ганс,
Могучий, как атлет,
Тряслась от смеха грудь его
И с нею амулет —
Дешевый крест из серебра,
Спасающий от бед.

«Ты с Хардикером говори,
Гуляет он с тобой

[1] Часть Калькутты.

Я завтра в море ухожу,
Увижу Скаген мой
И Каттегатом проплыву
В Саро́, к себе домой».

Страсть, обратившаяся в гнев,
Приносит много зла,
«Ты с Хардикером говори. . .»
Так Анна начала.
Стон. . . вздох. . . «Меня он обозвал. . .»
Тут драка и пошла.

Залема Хардике́ра крик,
Вознесенная рука,
И пляска теней на стене,
И нож исподтишка,
И на обломки стульев Ганс
Пал тушею быка.

Он на колени к Анне лег
Усталой головой:
«Я завтра в море ухожу,
В Саро́, к себе домой,
На Пасху жду Ультруду я, —
Корабль направлю мой

Я Каттегатом. . . но гляди. . .
Огонь. . . маяк. . . погас. . .»
И шопот стих, дух отошел,
И слезы женских глаз
Лились в ночлежке, там, где Ганс
Свой смертный встретил час.

Так был убит датчанин Ганс,
Могучий как атлет,
И Анна забрала себе
Ультрудин амулет —
Дешевый крест из серебра,
Спасающий от бед.

УСЛОВИЕ МУЛГОЛЛАНДА

Был ужас среди скотины нашего корабля. —
На нижней палубе рухнул загон, всем свободу суля,
И на нижней палубе свет погас, и там был только я.

Я пел им, что есть мочи, чтоб усмирить их так.
На нижней палубе — хуже всего, на ней опасен мрак,
Ее мне отдали, как силачу, хоть выпить я не дурак.

Я знал, меня растопчут иль забодают в бок. —
Загон быками был набит, как зернами стручок.
Я с богом заключил тогда условие на срок.

Условие гласило, — как прочитал я там, —
Что если он меня живым доставит к берегам,
То прославлению его я жизнь свою отдам.

Он спас меня от моря и от скота — все он!
Со мною волны принесли двух мертвых с двух
сторон.
С огромной щелью в голове, в бреду, я был найден.

Ее пробила мачта, быки здесь ни при чем.
Святую Библию свою, читая день за днем,
Два месяца я пролежал в госпитале морском.

Я бога про контракт спросил, и он ответил сам:
«Посильный труд я задаю моим служителям,
Иди на судно для скота и проповедуй там.

Пути людей опасны, их всюду гибель ждет.—
Нет хуже, как ты знаешь сам, чем разъяренный скот.
Иди на судно для скота, учи морской народ!

Пусть бросят пить, и клясться, и резать за синяк,
Пусть не проигрывают всё: ты проповедуй так.
Похожи те суда на Ад больше, чем адский мрак».

Не нравилось мне это, другого я хотел:
Учить на суше, мирно, вдали от наших дел,
Но слово божие на мне, и все — как он велел.

Как я и знал заране, я был избит не раз,
И щеку подставлял врагу, как учит Слово нас,
Но выполнив завет, врага лупил я между глаз.

Учить по воскресеньям, в полуденный покой,
Без пистолета и ножа — беды нет никакой,
Когда сам бог руководит воюющей рукой.

Три фунта десять в месяц идут на дно мешка,
Я никогда не потерял ни одного быка,
А имя божье у меня не сходит с языка.

Пусть шкипера толкуют, что я сошел с ума,
Но ведь доверена же мне вся нижняя корма, —
Кто б стал безумцу доверять, раз конкурентов тьма?

II

БРЕМЯ БЕЛЫХ

Несите бремя белых, —
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей;
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть — чертям.

Несите бремя белых, —
Сумейте все стерпеть,
Сумейте даже гордость
И стыд преодолеть;
Придайте твердость камня
Всем сказанным словам,
Отдайте им все то, что
Служило б с пользой вам.

Несите бремя белых, —
Восставьте мир войной,
Насытьте самый голод,
Покончите с чумой,
Когда ж стремлений ваших
Приблизится конец,
Ваш тяжкий труд разрушит
Лентяй или глупец.

Несите бремя белых, —
Что бремя королей!
Галерника колодок
То бремя тяжелей.
Для них в поту трудитесь,
Для них стремитесь жить,
И даже смертью вашей
Сумейте им служить.

Несите бремя белых, —
Пожните все плоды:
Брань тех, кому взрастили
Вы пышные сады,
И злобу тех, которых
(Так медленно, увы!)
С таким терпеньем к свету
Из тьмы тащили вы.

Несите бремя белых, —
Не выпрямлять спины!
Устали? — пусть о воле
Вам только снятся сны!
Старайтесь иль бросайте
Работу всю к чертям —
Все будет безразлично
Упрямым дикарям.

Несите бремя белых, —
И пусть никто не ждет
Ни лавров, ни награды,
Но знайте, день придет —
От равных вам дождетесь
Вы мудрого суда,
И равнодушно взвесит
Он подвиг ваш тогда.

ГАЛЕРНЫЙ РАБ

Хороша была галера и хорош штурвал резной,
И серебряная дева украшала нос стальной;
Пусть цепи терли ноги, пусть дышать было трудно нам, —
Но другой такой галеры не найти по всем морям.

Трещал наш трюм от хлопка, мы и золото везли.
Мы торговали неграми во всех концах земли!
Кипела пена следом, и акула рядом гналась,
Но гребли мы, и галера птицей пó морю неслась.

Было славно на галере, пировали мы подчас,
И, как люди, мы любили, хоть они терзали нас!
И, гоня в морях галеру, урывали счастья миг, —
Поцелуя не мрачил нам умирающего крик.

И с нами жены, дети в трюмной тьме губили дни, —
Бросали их акулам, когда умирали они.
Стрелой летит галера, и не плакать по мертвецам,
А завидовать им только хватало времени нам.

Друзья, мы были шайкою отчаянных людей, —
Мы были слугами весел, но владыками морей!
Мы вели галеру нашу напрямик средь бурь и тьмы,
Воин, дева, бог иль дьявол, — ну, кого боялись мы?!

Помнишь бурю? Наши деды не запомнили такой,
И земля дрожа глядела, как боролись мы с бедой.
Жгучий полдень, мрак полночи, Боль, Печаль иль
Смерти час?
Если б живы были дети, они высмеяли б вас!

Покидаю я галеру, сядет на скамью другой,
И на палубе недолго сохранится вензель мой.
Буду ждать ушедших в море сотрапезников моих;
Я свободен, все возьму я, кроме весел дорогих.

На плече клеймом каленым, ссадинами от цепей,
Незажившими рубцами — след безжалостных плетей
И от блеска солнца в море взором ослабевшим я
Награжден вполне за службу. Но она была моя!

Говорят друзья о бурях, о тяжелых временах,
Как галеру потрепало в грозных северных волнах.
Но когда решетки люков негры разнесут в щепье
И трусливый кормчий вгонит с треском на берег ее,

Ей не нужно будет флага, ни салютов, ни огней, —
Старых слуг призыв к спасенью возвратит немедля
ей!
Поседелые в оковах, презирая боль и труд,
На скамью, что их сгубила, они лягут и умрут.

Старики и молодые, дезертир, убийца, вор, —
Суд, шалаш или больница кончат этот разговор
В тот же день, когда над ними вспыхнет палуба
огнем
И надсмотрщики разгонят бесшабашный сброд
кнутом.

Может быть, Судьба устроит, чтоб мне снова
повезло, —
На войну могучий воин уходя мне даст весло.
Покидаю я галеру. Будь что будет, чорт возьми!
Никого не прокляну я, — я страдал и жил с людьми!

ПЕСНЯ МЕРТВЫХ

Слушай, поют мертвецы, — там, на севере, в сумерках черных,
Смотрят на полюс они, уснув среди льдов непокорных.
Песню поют мертвецы — там, на юге, где пали их кони
И где с лаем и воем бегут динго, пыль поднимая в погоне.
Песню поют мертвецы — на востоке, где джунглей трущобы
И где в зарослях буйвол ревет и кричат обезьяны от злобы.
Песню поют мертвецы — там, на западе, где за лесами
Росомахи погибших грызут, засыпая их кости песками.
Слушай, — поют мертвецы!

I

Мы, мечтатели, мечтали, задыхаясь в городах,
О заморских светлых далях, о чужих краях;
Но пришли — Виденье, Шопот, встала Сила с Нуждой,
И ссудили нас, чтоб шли мы нелюдской душой.
Как олень иль бык упрямо перед стадом идет,
Так и мы, по-детски веря, шли вперед, вперед.

Но иссякла пища наша, высохла вода,
И, по-детски веря, наземь мы легли тогда.
Мы лежим в песках зыбучих, в зарослях гнилья,
Для того, чтоб шли за нами наши сыновья.
Следом, дети! Следом, дети! Наша кровь течет
По корням кустов, деревьев, — зреет пышный плод.
Следом, дети! Ждем мы, ждем мы, не теряйте следов!
Ждем мы топота и шума тысячи шагов.
Следом, дети! Следом, дети! Жатва — здесь и там:
По костям отцов придете вы к своим костям!

Лишь к мысу Горн наш Дрейк проник, —
И этим Англия горда, —
В седых морях, в глухих морях
Приют для нас возник
(И этим Англия горда!)

Приют открыт для всех весь год,
Днем и в глухую ночь,
Тем смерть — пустяк и жизнь — пятак,
Кто в океан корабль ведет
(Днем и в глухую ночь!)

II

Все моря мы кормим уж тысячу лет,
И нету еще конца,
Хоть они и любой своей волной
Омыли мертвеца.
Мы лежим под водой и кормим собой
Акул и подводных змей.
Коль кровь — цена владычеству,
То мы не жалели своей!

Выносит теперь любой прилив
Суда, что мы вели;
Бросает теперь любой отлив
Погибших нашей земли —
И снова их в море уносит всех,
Батраков и вождей.
Коль кровь — цена владычеству,
Коль кровь — цена владычеству,
То мы уплатили своей!

И платить, — то честь наша! — будем дань
Мы тысячи лет морям,
Так и было, когда «Золотая лань»
Раскололась пополам,
И когда на рифах, слепя глаза,
Кипел прибой голубой.
Коль кровь — цена владычеству,
Коль кровь — цена владычеству,
Коль кровь — цена владычеству,
То мы уплатили с лихвой!

ТУЗЕМЕЦ[1]

Всевышний, храни Королеву!
Мы пили здоровье родни,
Здоровье английских братьев,
(Но нас не поймут они!)
Мы пили за все мирозданье,
Но гаснет мерцание звезд, —
Туземцу хвала — на прощанье
Да будет последний тост!

Над нами небо чужбины,
Но грезим о небе другом!
Нам тихая мать говорила,
Что старая Англия — «дом».
О жаворонках английских,
О сельской весне мы прочли,
Но вторили мы попугаям,
Скитаясь в дорожной пыли!

Шла рядом с конями легенда,
Рассказ о лишениях злых, —
Отцы покорили равнины,
А мы унаследуем их.

---

[1] В этом стихотворении речь идет не о туземцах — индусах, неграх и пр., но о «туземнорожденных», т. е. англичанах, родившихся в колониях.

Мы сердцем своим — в колыбели,
В стране, где потратили труд,
Надежду и веру и гордость
Мы в почву вложили тут!

Наполните ваши стаканы
И пейте со мною скорей
За Четыре новых народа,
За отмели дальних морей,
За самый последний, на карте
Еще не показанный риф,
И гордость друзей оцените,
Свою до конца оценив.

За утро на кровлях железных,
Звенящих от наших шагов,
За крик неподкованных мулов,
За едкую гарь очагов,
За риск умереть от жажды
И риск в реке утонуть,
За Странников Юга, прошедших
В мильоны акров путь!

За Странников Юга (встать!),
За небо, что стало родным,
Так славьте же вещи, которыми мы
дорожим,
Отметьте же вещи, которыми мы дорожим,
Ударом отметьте одним!

За плаванье шхун каботажных,
За буйволов в тысяче чащ,
За дождь, не грозящий ознобом,
За солнце, чей луч не палящ,

Мужчин, для которых и в зиму
И в лето — сплошной мясоед,
За женщин, которые двойней
И тройней рожают на свет!

За двойней и тройней (встать!),
За небо, что стало родным,
Так славьте же вещи, которыми мы дорожим,
Отметьте же вещи, которыми мы дорожим,
Ударом отметьте двойным!

За тень облаков, бегущих
Над прерией на восток,
За житницы наших соседей
И рельсы железных дорог;
Да здравствуют трудные зимы,
И борозды в лигу длиной,
Да здравствуют серые чайки
И западный ветер весной!

За родину ливней и грома,
За ту, чья целебна лазурь,
И запах сухих плоскогорий
И волны у мыса Бурь!
За шлюзы и рифы, за карту,
Что к золоту нас привела, —
Империи самой последней
И самой обширной — хвала!

За говор черных кормилиц,
Который нам с детства знаком
И прежде наречия белых
Был нашим родным языком!
Хвала прохладным верандам,

В высокой траве — светлякам,
Волне в бирюзовом уборе,
И пальмам, и лунным ночам!

За яркий очаг Народа,
За грозный его Океан,
За тихую славу Аббатства
(Без этого нет англичан!),
За вечный помол столетий,
За прибыль твою и мою,
За Ссудные банки наши,
За Флот наш торговый — пью!

Всевышний, храни Королеву!
Мы пили здоровье родни,
Здоровье английских братьев
(Поймут нас, быть может, они).
Мы пили много и долго,
Но Крест на рассвете зашел, —
Здоровье Туземца по Долгу
Мы грянем — и ноги на стол!

Здоровье Туземца (встать!),
Мы белые люди, нас — шесть,
Обязаны славить все вещи, что дороги нам,
И честно удары за вещи, что дороги нам,
Шестью кулаками нанесть!
Протянем же кабель (взять!)
От Оркнейя до Горна и звезд,
Вокруг всей планеты (с петлею, чтоб мир захлестнуть),
Вокруг всей планеты (с узлами, чтоб мир затянуть), —
Здоровье Туземца — наш тост!

ЖЕНЩИНА МОРЯ

У Северной двери хозяйка живет,
У нее богатый дом;
Кормит и поит она бродяг
И в море их шлет потом.

Иные тонут, где глубоко,
Иные в виду земли,
И приходит весть, и она других
Отправляет на корабли.

Покуда есть у нее свой дом
И свет у камелька,
Она гонит сынов на белый луг,
И жатва их горька.

На мокрую пашню гонит их,
Их конь — деревянный конь,
И возвращаются они,
Пройдя морской огонь.

И возвращаются они,
Неся в руках обман,
Но людьми, что жили среди людей
Далеких и голых стран,

Но с верностью тех, кто братался
с людьми,
Когда содрогалась твердь,
Но с глазами людей, что читали с людьми
Открытую книгу — Смерть.

Чудесами богата память их,
Но скуден морской доход,
И то, что досталось ценою зубов,
За ту же цену идет.

И каждый проигрыш свой судьбе
И каждый выигрыш свой
Они расскажут ей у огня,
И кивнет она головой.

Для всех ветров, что кружат золу,
Открыт ее камин.
И плывут, и плывут, и каждый раз
Сменяет сына сын.

(Отсюда — полные надежд
На счастье неторных путей;
Сюда — чтоб выждать свой черед,
Погревшись возле углей.)

И поздней ночью и в утренний час
Они возвращаются к ней,
Ей слышен на крыше мокрый каблук
Оседлавших бревно теней.

Домой их влечет из всех портов,
И мертвых и живых;
Они возвращаются, чтоб она
Благословила их.

ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕГИОН

Легион, не внесенный в списки,
Ни знамен, ни значков никаких,
Разбитый на сотни отрядов,
Пролагающий путь для других.
Отцы нас благословляли,
Няньчили, пичкали всласть,
Нам хотелось не клубных обедов,
А пойти и открыть и пропасть,
(Эх, братцы!)
Пойти, быть убитым, пропасть.

Кто травит рабовладельца,
Кто за черных стоит горой,
Кто вечно в погоне за нефтью,
Кто — за своей мечтой,
Кого в Саравак сдрейфовало,
Кого сдрейфовало во Фляй,
Кто делит свой завтрак с тигром,
Кого угощает Масай,
(Эх, братцы!)
Кроткий, вертлявый Масай.

Острова мы окрасили красным,
За жемчугом шли на дно,
Ликовали над самородком,

Жили голодно и бедно;
Мы смеялись над миром: мужчины,
Города и женщины — тлен!
От мрачного Саид-Бургаша
До гор, где горюет Лобен,
(Эх, братцы!)
Нас будет помнить Лобен!

Края земли — наша мера,
Океан нам привычен всем,
В каждой драке под ветром дерется
Легион, не ведомый никем.
Как-то и где-то и всюду
Мы первые там, где шумят, —
На Манилле в свалке у кассы,
На скачках конных бригад,
(Эх, братцы!)
Где Полиции конный отряд.

Мы армию обгоняем,
Мы за церковь воюем везде,
Не выручит нас канонерка,
Когда мы гибнем в воде.
Но мы знаем — коль выйдут пули
И нам не уйти назад,
Легион, не внесенный в списки,
Пошлет нам на помощь ребят,
(Молодцы!)
Пятьсот отборных ребят.

Тост (его мы тихонько выпьем) —
За беззаконный сброд,
За наших предтеч безымянных,
Джентльменский пиратский род.

Тост, прежде чем разойдемся, —
Пароход паровоза не ждет, —
Легион, не внесенный в списки,
Отправляется снова в поход.

Счастливо!

В палатки идем мы опять.

Ура!

Манерка и суп опять.

Как дела?

Вьючный конь и тропинка опять.

На караул!

Фургон и волы опять!

МАРШ ШПИОНОВ

«События развиваются полным ходом... от темпа нашей смертности стало бы тошно самому Наполеону... Доктор М. умер на прошлой неделе, а Ц. — в понедельник, но нам послали еще одну партию лекарств... Мы, повидимому, совершенно не в состоянии положить этому конец... Деревни в страшной панике... В некоторых местах ни одной живой души... Но, во всяком случае, приобретенный опыт может принести пользу, и я продолжаю по сей день писать записки на случай каких-либо событий... Смерть—странный товарищ для постоянного общения». (Из частного письма из Манчжурии).

Нет вождей, чтоб вести нас к славе, мы без них на врага наступаем,
Каждый свой долг выполняет сам, не слыша чужого шага,
Нет трубы, чтоб сзывать батальоны, без трубы мы ряды смыкаем,
От края земли и до края земли — во имя Желтого флага!

Становись! Становись! Становись!

Не там, где летит эскадрон,
Не там, где ряды штыков,
Не там, где снарядов стон
Пролетает над цепью стрелков,
Не там, где раны страшны,
Где нации смерти ждут,
В честной игре войны, —
Место шпиона не тут.
Державы, Князья и Троны! Важнее труд шпиона,—
Место шпиона не тут!

Мы для других услуг,
Мы знамя несем в чехле,
Нам черед, — коль Смерть разбушуется вдруг
На фронте по всей земле.
Смерть — наш Генерал,
Желтый флаг вознесен,
Каждый на пост свой стал,
И на месте своем шпион.
Где чума распростерла тени над множеством царств
и владений, —
Там за работу, шпион!

Редких выстрелов звук,
Похороны вдали,
Наши огонь открыли вдруг,
И группы в траву легли.
В панике города,
Воздух сел заражен,
Значит — война тогда,
И за работу, шпион!
Народы, Страны, Цари, приказы свои говори,
Как должен работать шпион?

(Барабан) —
Мы ходим под страхом, шпион!

«Пикет обойди кругом,
Чей облик он принял, открой,
Стал ли он комаром
Иль на реке мошкарой?
Сором, что всюду лежит,
Крысой, бегущей вон,
Плевком среди уличных плит —
Вот твое дело, шпион!»
(Барабан) —
Мы ходим под смертью, шпион!

«Что он готовит и где?
Когда наступать решил?
На земле, в небесах, на воде?
Как обойти его тыл?
Если сжечь запасы еды,
Умрет ли от голода он?
Проникни в его ряды —
Вот твое дело, шпион!»
(Барабан) —
Берись за работу, шпион!

«Он не хочет ли нас обмануть?
Не в засаде ли он сидит?
Что ему преградило путь?
Выжидает он иль разбит?
Не слышно его почему?
Не отступает ли он?
Узнай, проберись к нему!
Вот твое дело, шпион!

(Барабан) —
Добудь нам ответ, шпион!

«Подпруга с подпругой скачи,
Где Конь Блед летит без дорог,
Землю слушай в ночи,
Расскажи, что знает песок.
Дым нашей муки бел,
Где сожженный лег легион:
Что нам за дело до душ и тел?
Дай нам спасенье, шпион!»

ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ

Мощь шести тысяч лошадей
Во имя одного,
Строй уходящих кораблей,
Гнев, двигатель всего:
Мощь полосатых тел тиха,
Путей их не постичь,
Ждут Смерть, как Девы жениха —
Искатели добыч!

Смешались небо и волна,
И гасит дождь лучи,
И помогает зыбь, мрачна,
Всем подвигам в ночи.
Огнями мысы не зажглись
И банки не видны,
Мы безнадежно отдались
Слепой игре войны.

Ближе снопы лучей, и знай —
Враг показал лицо;
Яснее слышен пушек лай,
Смыкается кольцо.
Прямо в капкан дорога им,
Порт не увидят свой.
Спокойно! — можешь считать своим
Прикрытье и конвой!

Незримы, мы следим, как шлют,
Где отмели одни,
Где глубина всего лишь фут,
Тревожный свет они.
Опасность ждет не тут, не тут!
(О, сокол среди мглы!)
И только чайки подадут
Сигнал с ночной скалы.

Итак — еще далек покой,
Канал не ваш пока!
Сирены слушай дикий вой,
Ведь это смерть близка!
Взгляни на авангард, и страх
Подскажет, в тишине:
Недвижный остов на волнах
И мачты все в огне.

Пробоина! Глухой удар,
Карающ и незрим, —
Переходящий в пену пар,
Пена, легка как дым,
Дым, заслонивший глубину,
Чья пасть добычу жрет,
И, нефтью запятнав волну,
Исчез водоворот.

На зыбких водах темный след,
Злодей исчез средь тьмы,
Орудий хлопотливый бред
По носу и с кормы!
Бьет ужас среди мачт в воде,
О помощи моля,
Безумный страх знаком звезде
И борту корабля.

Покуда в дыме все слилось
И страхом все полны,
Пронзай лучами их насквозь —
Киты ослеплены!
Привет тому, кто уцелел!
Погибшему — венец!
Назначен каждому удел,
И бог за всех. *Конец!*

Мощь шести тысяч лошадей,
Над ними власть одна,
Рука, ведущая везде,
Гнев, им рука сильна;
Гром, павший средь полночных вод,
И моря горький клич,
Кипящий след, безумный ход, —
Искатели добыч!

КУПЦЫ

Гонял купцов царь Соломон, —
Любил он обезьян,
Кораллы и заморских птиц, —
В Тир, в Тарсис и в Ливан,
И кедры гнал ему Хирам
Без счета и числа,
Но мы лишь с Лондоном ведем
Торговые дела.

Побережьем — и морями — вокруг света нас несет,
Где попутный дует ветер, где торговля нам верна.
Топсель — стаксель[1] *— галс окончен — поворот —*
Мы оплатим Пэдди Дойлю сапоги его сполна!

Мы жемчугов и слитков
Не возим никогда,
Но стоят нам товары
И пота и труда.
Под нестерпимым солнцем,
В объятьях льдов седых
И под угрозой ветров,
Что носятся меж них,

[1] Название отдельных парусов.

Кой-что добыто торгом,
Кой-что нам дал захват,
Кой-что — учтивость наших
Ножей и каронад, —
Бывали встречи в море:
Из милости одной
Мы облегчали судно,
Спешащее домой.

Все валко в непогоду,
Напряжено вдвойне —
Киль, погруженный в волны,
И клотик в вышине;
Шесть океанов властны
Все унести себе:
И в Балтике —
Наш камбуз, [1]
Наш выстрел [2] — в Моссельбей. [3]

Мы прорывались в Тексель, [4]
Мешали бревна нам,
Из Вальпарайсо мчались,
И Норд шел по пятам.
У полюса сидели
В клыкастом, крепком льде,
И нам Агулхас [5] в качку
Топил фальшборт в воде.

---

[1] Судовая кухня.

[2] Горизонтальное бревно, ставящееся перпендикулярно к борту корабля для стоянки шлюпок. На ходу корабля крепится вдоль борта.

[3] Бухта в Капской колонии.

[4] Проход, соединяющий Английский канал с заливом Зюдерзее.

[5] Южная оконечность Африки к востоку от мыса Доброй Надежды.

Мы обошли всю карту,
Все новые пути,
Нам острова светили,
Которых не найти.
От страха — волос дыбом,
А ночь пройдет едва, —
Играет против ветра
Пустая синева.

Мы спутников имели,
Суливших нам беду,
И вспыхивали ванты
Огнями находу.
Сквозь ураган багровый
И сквозь туман в глазах
Голландец против ветра
Летел на парусах.

То Лотовый нас кликал,
Сгоняя глубину,
То мы Пловца слыхали,
Что не идет ко дну.
На парусах застывших
И в снеговой пыли,
С командой вдвое бо́льшей
Мыс Духов мы прошли.

И мы не раз встречали
На северных морях
Безмолвный призрак шхуны,
Всех китобойцев страх.
Сквозь снеговое поле,
Открытое на миг,
Покойный Гендрик Гудсон
К норд-осту вел свой бриг.

Так нас господни воды
Несли под рев небес,
Так много мы видали
Явлений и чудес:
Но курс наш был обратный,
С доходом или нет —
Все сгинуло, все в море
Унес наш пенный след.

Отдать скорее якорь!
А грудь сомненье жжет.
Что груз наш очень беден,
Подарок дальних вод!
Отдать конец! Ах, дурни,
И ты, и я не прав, —
Все худшее мы взяли,
Все лучшее не взяв.

Побережьем — и морями — вокруг света нас несет,
Может не пойти торговля, ветер стихнуть на пути,
Топсель — стаксель — галс окончен — поворот —
Это все, чтоб в Лондон груз свой привезти!

ПЕСНЯ ДИЕГО ВАЛЬДЕСА

Веселый бог Удачи
Умножил мой доход,
Мои — товары в трюмах,
И мой — богатый флот.
Хоть многие отплыли
В далекие края,
Мой оказался лучшим путь
И Адмиралом — я.

Меня Король ласкает
И любит мой народ,
Мне княжеская гордость
И княжеский почет.
Мной города гордятся,
Мне чернь давно поет:
«Кто Вальдеса не знает,
Не много знает тот!»

Но помнятся мне други
Среди чужих морей,
Когда мы торговали
Средь голых дикарей,
Шесть тысяч миль южнее,
И тридцать лет назад,
Я был для них не Вальдес,
Но их любимый брат.

Кому вино досталось,
Тот пил среди друзей,
А кто нашел добычу,
Тот говорил о ней
У островов заветных,
Вблизи подводных скал,
Когда, устав с дороги,
Флот мирно отдыхал.

Там от костров дымились
Прибрежные леса,
Там мы вздымали стяги —
На веслах паруса.
Как блещет быстрый якорь,
Стремя ко дну канат,
Так мчались капитаны,
Куда глаза глядят.

Где мы снимали шпаги?
Куда лежал наш путь?
Чей кров под тенью пальмы
Манил нас отдохнуть?
О, чистый ключ в пустыне!
О, криница в степях!
О, ломоть хлеба втайне!
О, чарка второпях!

Познавший негу мальчик,
Вдова, чья жизнь темна,
Невеста в цвете силы
И гордая жена,
Все те, кого снедают
Жестокие огни,
Не так зовут блаженство,
Как я — былые дни!

Я думал, — будет время,
Мне не изменит пыл,
И, выжидая радость,
Весну я отложил.
И вот сперва в гордыне,
Потом в тоске узнал,
Что я — Диего Вальдес,
Верховный Адмирал!

С тех пор служил мне ветер
И каждый взлет волны,
И что бы ни дерзал я,
Они всегда верны,
Но скрыта в них измена
(Так океан хотел!),
И Вальдес ими продан
В неволю славных дел.

Меня бросала буря
То вверх, то вниз, и был
Мой путь во власти ветра,
А я великим слыл.
Застрявшую добычу
Туман держал кольцом,
Мне дул попутный ветер,
И слыл я мудрецом.

Но, несмотря на славу,
Ограблен, сбит с пути,
Я грезил неустанно
Покой себе найти.
Но тот, кто венчан Флотом,
Кого ласкает Двор,
Он здесь, Диего Вальдес,
Моей надежды вор!

Мольбы его не тронут,
Он камня холодней,
Владыка сотни флагов
И старшина морей.
Его отпущен словом,
Кто к милой не стучал?
Но не Диего Вальдес,
Верховный Адмирал!

Нет больше волн у моря
И у небес ветров,
Чтобы вернуть наш отдых
У шумных берегов —
И чистый ключ в пустыне,
И криницу в степях,
И ломоть хлеба втайне,
И чарку второпях.

Я кликнул Капитанов —
Держать совет сейчас,
Несутся их галеры,
Двенадцать весел враз.
Я тесную темницу,
Я тяготу кандал
Приму — Диего Вальдес,
Верховный Адмирал.

ГЕНЕРАЛ ЖУБЕР

(Умер 27 марта 1900)

Он не был с теми, кто морями слез
Залил селенья и зажег пожар,
Он, непреклонный, жизнь свою принес
Потерянному делу в тщетный дар.

В народе сильном, кованном в огне,
Едином от сражений и побед,
Без злобы говорящем о войне,
О нем не раз расскажет внуку дед.

Быть может, он не бросится вперед
В последнем городе, в пустом краю, —
Все ж над его могилой пропоет
Наш гулкий залп в ответ его ружью.

ГИМН ПЕРЕД БИТВОЙ

Земля дрожит от гнева,
И темен океан,
Пути нам преградили
Мечи враждебных стран:
Когда потоком диким
Нас потеснят враги,
Йегова, Гром небесный,
Бог Сечи, помоги!

С высоким, гордым сердцем,
Суровые в борьбе,
С душою безмятежной,
Приходим мы к тебе!
Иной неверно клялся,
Иной бежал как тать,
Ты знаешь наши сроки —
Дай сил нам умирать!

А тем, кто с нами разом
Зовет богов иных,
Слепой и темный разум
Прости за веру их!
Мы к ним пришли как к братьям,
Позвали в страшный час, —
Их не рази проклятьем,
Их грех лежит на нас!

От гордости и мести,
От низкого пути,
От бегства с поля чести
Незримо защити.
Да будет недостойным
Покровом благодать,
Без гнева и спокойно
Дай смерть Твою принять!

Мария, будь опорой,
Защитой без конца
Душе, что встанет скоро
Перед лицом Творца.
Мы все среди мучений
От женщин родились, —
За верного в сраженьи,
Мадонна, заступись!

Нас поведут к победам,
Мы смерть несем врагам,
Как помогал Ты дедам,
Так помоги и нам.
Великий, и чудесный,
И светлый в смертный час,
Йегова, Гром небесный,
Бог Сеч, услыши нас!

БЕРЕГОВЫЕ МАЯКИ

Увенчанные пеной и в траве морской по грудь,
Мы молча озираем морскую кипящую муть.
С утесов, шхер и мысов, с аванпостов крутой земли
Мы смотрим, как Каналом ползут и ползут
корабли!

И в тихий летний вечер, в тот час, как вода светла,
И в бурю, если ревом сирены пугает мгла,
По реянью ли флага, по полету ли ракет,
Мы узнаем: откуда, и от всех получаем ответ.

Наш луч, врезаясь в ночь, кричит: «Вниманье,
рулевой!»
Жену в постели будит, врываясь в город ночной,
Мы горящею свяжем цепью, как бы яростен
ни был шквал,
Любимого, что морем взят, с подругой, что он
целовал.

Всем пароходам наш привет — они везут руно,
Кто шлет их — Бремен или Гулль, — не все ли нам
равно?
И в непогоду луч наш — всем, всем помочь готов,
Идет ли броненосец, ползет ли китолов.

Домой, домой с востока плывите поскорей!
Домой спешите с запада, цыгане всех морей!
  Вы ткете ткань Империи, морские челноки,
Вас Англия встречает, и с ней ее Маяки!

Вперед, вперед по Каналу, обросшие корой,
Наполнив трюмы товаром, неситесь в Лондон
                                        сырой!
Начнут об Империи спорить, — скажите, коль
                                        спросят вдруг:
Вас Маяки послали, и все умолкнут вокруг.

СЛАВА САДА

Британия — чудесный сад, где множество цветов,
Газонов, кустиков, аллей, лужаек и мостков,
Павлины в нем красуются средь статуй и террас,
Но Слава Сада все ж не в том, что восхищает глаз.

У красной стенки, где густых зеленых лавров лес,
Сарай с садовой утварью — вот сердце всех чудес:
Оранжереи, парники, гора навоза, пруд,
Тележки, тачки и горшки, вы все найдете тут.

Садовники с подручными проводят здесь все дни,
И делают, что сказано, без всякой суетни;
Во время сева криком птиц мы отгонять должны,
А Славе Сада ни слова, ни крики не нужны.

Иной за розами следит, иной растит пион,
Иной способен погубить и крошечный бутон;
Зато посыплет он песок, газоны подстрижет,
Потому что Слава Сада всех с собою увлечет.

Британия — наш сад, его не создадите вы,
Вздыхая: «Ах, как хорошо!» и скрывшись в тень листвы,
Покуда те, что лучше нас, всю жизнь отдав труду,
Скоблят обеденным ножом на клумбах лебеду.

Такой тупой нет головы и ног, что так тонки,
Такого сердца слабого, столь немощной руки,
Чтоб не нашлось бы им в Саду каких-нибудь работ,
Потому что Слава Сада всех нас вознесет.

Берись же веселей за труд с надеждою великой,
Снимай с растений слизняков, ходи за земляникой;
Когда же заболит спина и вздуются мозоли,
Слава Сада не оставит и тебя без доли.

Садовником был сам Адам, и бог хотел, чтоб он
В саду трудился целый день, коленопреклонен.
Когда работу кончишь, помойся, и тогда
Помолись, чтоб Слава Сада не минула никогда!
И увидишь — Слава Сада не минует никогда!

III

ПЕСНЬ БАНДЖО

Рояль не завернешь с собою в путь,
А скрипку вредно в сырости держать,
Нельзя орган по Нилу потянуть,
Чтоб у болот экватора играть.
Меня везут с кастрюлькой и ведром,
Между консервов, кофе и свиных, —
В хвосте пылящем воинских колонн
Я арьергард подбадриваю их

> Песней: *Ты ли, Вилли, я ли, он ли мог?*
> (В голову мою не лезет звук иной), —
> Так я их веду, пока их свалит с ног,
> С песней этой на ночлег и водопой.

В тишине бивака, если завтра бой,
(Помолись, скажи последнее прости) —
Слышишь: я толкую в темноте ночной:
«Славно, — значит, каждый против десяти!»
Крайне вздорны предсказания мои,
Дел несбыточных немыслимый исход,
Если же случайно сбудутся они, —
Дай, сменю размер, скажу наоборот.

> С песней: *Топай-топай-топай-топай-топ!*
> Так в пустыню, где бивака дым во мгле,

Где не слышно было слова, я привел
ваш хор суровый,
Барабаны белокожих на чужой земле!

По крутой дороге Младший сын пройдет
Раньше, чем добыть себе очаг и дом.
Под навесом, где батрак овец стрижет,
В тишине, перед пастушьим шалашом,
В сумерках, на бочке кверху дном,
Бормочу я то, что слабый утаит:
Город — я, Воспоминанье обо всем,
Обо всем, что с фрачной парой вас манит.

С песней: *Тонкой, тонкой, тонкой, тонкой*
так!
Вот огни — да это Лондон! .. блеск кругом!
Так я шпорю их на бой с чортом и с самим
собой,
Так веду их, укрощенных, в отчий дом.

За сокровищем заокеанских стран,
Где в поту и реве новый город встал,
Мы с Улиссом юным через океан
Приплыли, — и якорь с грохотом упал.
Кровь его возьмет широкий небосвод,
Он попался в беспощаднейший силок,
И я буду петь, пока он не умрет:
— Слышишь, скрипы вантов в штормовой
денек?
Песню: *хейа-хейа-хей-хеллоу-улов!*
(О, зеленый гром за ютом, вдоль и вниз!)
Тошен стал родимый край? Что ж, простись
и отплывай,
Как поется: «Джонни, — ранец! и тащись!»

Сквозь ущелья те, где звезды днем горят,
Вверх, в проходы те, где тесно колесу,
Где утеса тысячефутовый скат,
Вниз в долину, всю в щетинистом лесу:
И в снега, где мостик гнется и поет,
Где и нивелир собьется в вышине,
Я детей моих отважных поведу вперед,
Чтобы песнь Роланда громко спеть сосне.

Слышишь: *Дымка-дымка-дымка-дым-*
дымить!
И топор прочистит горный путь туда,
И коней железных мы погоним пить
Сквозь каньоны, вдаль на Запад, где вода.

Эти звуки вам так много говорят,
Вы сморкаетесь, и вы потрясены.
Звуки пошлые вздыхают и томят,
Струны сердца задевают вам они.
Звук ликует и дурачит, и влечет,
В нем обман, и опьянение, и страсть;
Вы уже ушли, но вашу память жжет
Звука этого навязчивая власть.

Слышишь: *Томно-томно-томно-томно*
так...
Вот безделица в счет радости былой!
Прежде чем, ослеплены, вы поймете смысл
вины, —
А Раскаянье придет само собой!

Пусть орган льет скорбь под потолок,
Жалобу Людей *Я* звездам рассказал;
Пусть врага на битву позовет рожок,

Я — в Час бегства — Бегство осмеял.
Рев мой неизменен и всегда правдив,
Я глумлюсь над жирным Смыслом всех вещей,
Но Потерянных возможностей мотив, —
Он ли до сих пор дрожит в струне моей?

Слышишь: *Та-ра-рара-рара-рара-ррРп!*
(Вас ничем во мне не тронуть, не пронять!)
Но последнее за мной слово, движущее в
бой,
И ряды, сомкнувшись, выйдут умирать!

Мое господство Лирой началось —
(О, лазурь над хижинами пастухов!)
Край, куда Небесный Вор огонь принес,
Чтоб сковать мой гриф и кольца ободков.
Голосом моим вещает Мудрый Век
О «Вчерашнем завтра» — истиной простой,
Я — прямая Радость жизни, древний Грек,
Песня вечная о Юности людской.

Слышишь: *Звонко-звонко-звонко-звонко-*
звон!
(В чем нехватка, в чем нехватка, господа?)
Так я связываю мир, звено с звеном,
К Делосу от Лимерика навсегда.

ПЕСНЬ БАНДЖО[1]

Не потащишь за собой в поход рояль,
Не оставишь скрипку в ящике сыром,
И по Нилу вверх, я думаю, едва ль
В лагеря органы повезет паром.
Я странствую средь медных котелков,
В непосредственном соседстве с ветчиной.
Но когда отряд, устав, упасть готов, —
Вы послушали б задорный окрик мой!

Слышишь: *Пилли-уилли-уинки-уинки-попп!*
(О, не все ль равно, что в голову придет?)
Я дразню их так, пока не скажут: стоп!
Я веду их за собой — за взводом взвод.

Если лагерь спит, и страшный близок бой,
И молчания в палатках не снести,
Объясняю — *стромпти-томпти* — в час ночной,
Что один нередко стоит десяти.
Я Несбыточно-нелепого Пророк,
Сказочных чудес, которых глупо ждать,
А свершится то, чего ты ждать не мог,
Дайте ногу мне сменить, пою опять.

---

[1] Некоторые стихотворения даются в двух параллельных переводах.

Слышишь: *Тумпа-тумпа-тумпа-тумпа-тумп!*
У костра в пустыне серый вырос стан;
Там, где чуден каждый шорох, прозвенел
победный хор их,
Я — скитальцев белых звонкий барабан!

В том краю, где бродит Младший Сын,
Очагом в чужих домах не дорожа,
В час, как в хижине пастушьей он один,
Или в пьяный час ночного кутежа,
В тихих сумерках, где бочка кверху дном,
Слышишь лепет мой про дум томящих мрак,
Мука — я, Напоминание о том,
Как ты в городе носил когда-то фрак.

Слышишь: *Тунка-тунка-тунка-тунка-тунк!*
(Льются Лондона огни во тьме ночной)
Я клянусь вам: не уйдете вы от Дьявола
и Плоти,
Только я верну моих бродяг домой.

В города за бурным клекотом морей,
Где в тропическом удушьи — гром и гам,
Я с Улиссом проношусь под скрипы рей
И бреду за ним по чуждым берегам.
Он лежит один, и взор его погас,
И захлопнулась навеки западня,
Он услышит в стоне струн в предсмертный час,
Как волна поет, вскипая и звеня.

Слышишь: *Хайя! Хийя! Хийя! Хулла! Хо!*
(За кормой валов зеленых карусель!)

В городах вам жить невмочь? Можно этому
помочь,
Отправляйтесь-ка за тридевять земель!

По ущельям черным к чорту на рога,
По дорогам, затерявшимся в горах,
Обходя в ночи крутые берега,
Вниз в долину с высоты на всех парах;
Где колеса стонут, стонут, все в снегу,
Где подвластно все слепящей белизне,
Мы промчимся впопыхах и набегу
Песнь Роланда сообща споем сосне.

Тинка-тинка-тинка! — звонок голос мой
(Нам дорогу проложил в лесах топор!)
Мы железных жеребцов на водопой
Гоним к морю по хребтам Скалистых гор.

И пустой, банальнейший мотив,
Тот простой мотив, знакомый только вам,
Сотни чувств былых в гнусавый лепет слив,
Разрывает скорбью сердце пополам;
Черен перечень: безумье, похоть, ложь,
Кутежи, вино и пьяные друзья,
Мысли, от которых ночью не уйдешь,
От которых убежать нигде нельзя.

Слышишь: *Плунка-лунка-лунка-лунка-лунк!*
Вот рассказ о наслажденьях прошлых дней!
Чем поздней иссякнет смех и увидишь
черный грех,
Тем раскаянье огромней и страшней.

Пусть органу внемлет храма гордый свод, —
О Тоске скажу созвездиям нагим.
Пусть труба врага на смертный бой зовет, —
Пораженье? Я бегу, смеясь над ним!
Нет, ни с чем нельзя смешать мой дикий крик,
Над Душою всех Вещей глумлюся я.
Неужели этот гимн во мне возник,
В этой песне струн гнусавых — скорбь моя?

Слышишь: *Та-ра-ра-ра-ра-ррп!*
(Слышишь ты, — я снова тут как тут?)
Это я пекусь о вас, если вам дадут приказ
И под рев огня полки на смерть пойдут!

Не доводится ли Лира бабкой мне?
(О, заливов полусонных синева!)
Вор, украв ее, года держал в огне,
И с тех пор железной стала голова.
И столетий мудрость в струнах говорит,
Мой мотив известен миру с давних пор,
Мной источник каждой радости открыт,
Я веду Победной молодости Хор.

Тинка-тинка-тинка! — я звеню,
(Тот ли лад, мои скитальцы? Тот ли лад?)
Так я связываю мир — звено к звену,
Бросив Делос к Лимерику, — и назад!

ПЕСНЬ КОНТРАБАНДИСТОВ

Коль проснувшись в полночь, копыт услышишь
стук,
Не трогай занавески и не гляди вокруг,
Кто не любит спрашивать, тому и не солгут,
Детка, спи, покуда Джентльмены не пройдут!
Двадцать пять лошадок
Рысью через мрак —
Водка для Священника,
Для Писца табак;
Письма для шпиона, шелк для лэди тут,
Ты, детка, спи, покуда Джентльмены не
пройдут!

Если, в дровяной сарай заглянув тайком,
Смоленые бочонки увидишь с коньяком,
Звать не надо никого, не затевай игру,
Прикрой их досками опять, их уберут к утру!

Если у конюшни дверь — настежь всем ветрам,
Если конь измученный распластался там,
Если чинит мать пиджак, мокрый изнутри,
Если весь изодран он, — не болтай, смотри!

Если красных с голубым встретишь ты солдат,
Прикуси свой язычок, они пусть говорят.
Если назовут тебя «душкой» невзначай,
Где кто был, где кто сейчас, ты не разболтай!

Стук и шорох под окном в поздние часы
Не должны тебя пугать, раз не лают псы.
«Верный» тут и «Пинчер» тут, и оба молча
ждут.
Не дыхнут, покуда Джентльмены не пройдут!

Если будешь умницей, то получишь ты
Куколку французскую редкой красоты,
Кружевная шляпа, бархатный наряд —
Это Джентльмены пай-девочке дарят!
Двадцать пять лошадок
Рысью через мрак —
Водка для Священника,
Для Писца табак.
Кто не любит спрашивать, тому и не солгут,
Детка, спи, покуда Джентльмены не пройдут!

ПЕЧАТЬ

Солдат забудет меч и бой,
Моряк — океанский шквал,
Масон пароль забудет свой,
И священник забудет хорал.
Девушка — перстни, что мы ей дарим,
Невеста — «да» прошептать,
И еврей забудет Иерусалим,
Скорей, чем мы Печать!

Кто был волнением томим
В час, когда с ревом реки,
Гаррильд и Го, один за другим,
Глотают бумаги тюки,
И тихим утром трубку набил,
Чтоб усталость ночи прогнать, —
Сердцами тех завладел Черный Цех,
Ежедневная Печать!

Кто этой игре предавался всласть,
(Каждый может в нее играть!) —
Того ни славы блеск, ни страсть
Не смогут отвлечь опять.
Конь издалека чует бой,
И Вкусившего не удержать,
Его влечет к себе трубой
И громами Печать!

Можешь ли ты сосчитать наши дни,
«Времена»,[1] что создали мы?
Или молнии выслать, чтобы они
На земле царили средь тьмы?
Дать мощные крылья павлину ты смел,
Чтоб глупость его поощрять, —
Садись же у сердца людей и дел,
Тебя осенила Печать!

Интердикты Папа пишет зря,
Зря декреты волнуют умы,
Вот пузырь раздут — и нет пузыря,
Это делаем только мы!
Помни о битве, она страшна,
И троны должны признать,
Что Королева гордыни одна:
Печать — Печать — Печать!

[1] В английском подлиннике — игра слов: «Times» — времена и «Times» — название известной газеты.

ГЕХАЗИ

Откуда ты, Гехази,
Осанистый такой?
За что украшен цепью
Английской, золотой?
«За то, что Нааману
Не прекословил я,
Израиля Судьею
Назначили меня».

Хвалю, хвалю, Гехази!
Гордись и руку дай,
И, ускользнув от кары,
Суди родимый край.
Но поклянись ни взяток,
Ни сведений не брать,
Которые способны
Барыш на рынке дать.

Выпытывай, Гехази,
Ответ умелый тот,
В котором подсудимый
Еще гнуснее лжет,
Крича, как добродетель,
Притворно возмущен,
Чтоб замолчал свидетель
И онемел закон.

Смотри, Гехази, в оба,
Чтоб тайно никогда
Не мог он сговориться
С судьею в час суда,
Чтоб дела не замяли
Дары и кумовство
И не сокрыли явной
Виновности его.

О, честности зерцало!
Что ж тягостного в том?
Что значит эта бледность
И пот на лбу твоем?
Ужели эти струпья
И язвы — страшный знак
Проказы Наамана
На всех твоих сынах?
Так запахни ж, Гехази,
Одежды, уходя, —
В проказе белоснежной
Израиля Судья!

СИОН

Привратники Сиона,
Им не всегда стоять
В доспехах, аллебарды
Сжимая рукоять.
Но тайны все Сиона
Познав, пойдут, шутя,
Под кущами Сиона
Вкушать покой Сиона,
Все радости Сиона
В Сионе обретя.

Привратники Ваала
Не смеют и присесть,
За этот стыд друг друга
Они готовы съесть.
И прихоти Ваала
Над ними каждый миг,
Они, страшась Ваала,
Не сводят глаз с Ваала
И славят лишь Ваала,
Ваала грозный лик.

Но будем все в Сионе
По доброй воле мы,
И те, что ныне живы,

И те, что в царстве тьмы;
Свободные в Сионе,
Присядем мы к столам
И поедим в Сионе
И выпьем мы в Сионе —
Какой бокал в Сионе
Ни поднесли бы нам!

IV

ТОММИ

Однажды я зашел в трактир и пива заказал,
«Солдатам мы не подаем» — трактирщик мне
сказал.
Девчонки за прилавком хихикали, шипя,
А я на улицу ушел и думал про себя:

О, Томми то, и Томми се, и с Томми знаться
стыд;
Зато «Спасибо, мистер Аткинс», когда военный
марш звучит,
Военный марш звучит, друзья, военный марш
звучит!
Зато «Спасибо, мистер Аткинс», когда военный
марш звучит.

Однажды я пришел в театр, я трезвый был вполне,
И штатских принимали там, но отказали мне;
Загнали на галерку — неважный кавалер!
А только до войны дойдет, пожалуйте в партер!

О, Томми то, и Томми се, тебе не место тут!
Зато есть «поезда для Аткинса», когда войска
идут, —
Ого, войска идут, друзья! Ого, войска идут!
Зато есть «поезда для Аткинса», когда войска
идут.

Ну да, оплевывать мундир, что ваш покой блюдет,
Гораздо легче, чем его надеть на свой живот,
И если встретится солдат навеселе чуть-чуть,
Чем с полной выкладкой шагать, милей его
толкнуть.

О, Томми то, и Томми се, и как с грехами счет?
Но мы «стальных героев ряд», лишь барабан
забьет, —
О, барабан забьет, друзья! О, барабан забьет!
И мы «стальных героев ряд», лишь барабан
забьет.

Мы не стальных героев ряд, но мы и не скоты,
Мы просто люди из казарм, такие же, как ты,
И если образ действий наш на пропись не похож,—
Мы просто люди из казарм, не статуи святош.

О, Томми то, и Томми се. На место! Задний ход!
Но «Сэр, пожалуйте на фронт!» — когда грозой
пахнет.
Ого, грозой пахнет, друзья! Ого, грозой пахнет!
И «Сэр, пожалуйте на фронт!» — когда грозой
пахнет.

Вы нам сулите лучший кошт и школы для семьи,
Мы подождем, но обращайтесь вы с нами, как
с людьми.
Не надо кухонных помой, но докажите нам,
Что быть солдатом в Англии для нас не стыд и
срам.

О, Томми то, и Томми се, скота такого гнать!
Но он «спаситель Родины», если пушки начнут стрелять.
Пусть будет, как угодно вам, пусть Томми то да се,
Но Томми вовсе не дурак, и Томми — видит все.

ДЭННИ ДИВЕР

«Скажи, о чем трубит наш горн?» — так Рядовой сказал.
«Он гонит вас, он гонит вас!» — ему в ответ Капрал.
«Ты почему так бел, так бел?» — так Рядовой сказал.
«Сейчас увидишь, почему!» — ему в ответ Капрал.
Будет вздернут Дэнни Дивер, похоронный марш трубят,
Полк стоит большим квадратом — Дэнни Дивера казнят,
Срезаны его нашивки, пуговиц блестящий ряд,
Будет вздернут Дэнни Дивер рано утром.

Как тяжко дышит задний ряд!» — так Рядовой сказал.
«Мороз жесток, мороз жесток!» — ему в ответ Капрал.
«Там кто-то впереди упал», — так Рядовой сказал.
«Ужасный зной, ужасный зной!» — ему в ответ Капрал.
Будет вздернут Дэнни Дивер, обвели его вокруг
И потом остановили, не развязывая рук;
Миг спустя, как пес трусливый, заде[illegible]ается друг,
Будет вздернут Дэнни Дивер [illegible]т[illegible]

«Он спал направо от меня», — так Рядовой сказал.
«Заснет он нынче далеко», — ему в ответ Капрал.
«Его я пиво пил не раз», — так Рядовой сказал,
«Он горькую сегодня пьет», — ему в ответ Капрал.
Будет вздернут Дэнни Дивер, и исполнен приговор,
Он товарища прикончил — на него взгляни в упор;
Землякам его, солдатам и всему полку позор,
Будет вздернут Дэнни Дивер рано утром.

«Что там на солнце так черно?» — так Рядовой сказал.
«То Дэнни борется за жизнь», — ему в ответ Капрал.
«Что там на солнце так черно?» — так Рядовой сказал.
«Отходит Дэннина душа», — ему в ответ Капрал.
Жизнь окончил Дэнни Дивер, слышишь звонкий барабан?
Полк построился в колонны, нас уводит капитан.
Хо! Трясутся новобранцы, — поскорее за стакан!
Нынче вздернут Дэнни Дивер рано утром.

ПИКНИК ВДОВЫ

«Где пропадал ты налегке,
Джонни, Джонни?»
Там, где и все, на пикнике.
Джонни, мой Джонни, ага!
Из казарм они вызвали нас тогда,
За Госпорт Хард, бог весть куда
А когда вас зовут — отказать [illegible]а,
И к тому же Вдова уго[illegible]ет.
(Горн: Та-рара-ра-ра-рара!)

«А что ж ты ел и что ж ты пил,
Джонни, мой Джонни?»
Затхлую воду, гуще чернил,
Джонни, мой Джонни, ага!
Убитого год назад быка,
Баранину, жесткую как доска,
И птиц, что вскрывал удар тесака.
Когда Вдова угощала.

«Были ножи и вилки у вас,
Джонни, Джонни?»
Мы носим с собой их всяки[illegible] раз,
Джонни, мой Джонни, [illegible]
Кой-что делили на целый в[illegible]
Кой-что хватали прямо в [illegible]

Ели и падаль, и битый скот,
Когда Вдова угощала.
«Что делали вы, те, что пошли,
Джонни, Джонни?»
Все, что хотели, все, что могли,
Джонни, мой Джонни, ага!
Каждый пил вдоволь, каждый был сыт,
Я думал, паек тот нам повредит,
Половина из нас до сих пор лежит
Там, где Вдова угощала.

«Но как же кончился этот бал,
Джонни, Джонни?»
Спроси Полковника, я не видал,
Джонни, мой Джонни, ага!
Мы сломили Царя, мы свершили дела,
Там зданье Суда, где дивизия шла,
И течет вода там, где кровь текла,
Когда Вдова угощала.
(Горн: Та-рара-ра-ра-рара!)

БРАТЦЫ, БРАТЦЫ...

«Братцы, братцы, вы с войны,
Что ж не с вами мой дружок?»
«Был по морю наш путь, он мог и утонуть,
Поищи-ка нового дружка».

Старый! Новый!
Поищи себе дружка,
Мертвым не помочь, вытри слезы прочь,
Поищи-ка нового дружка.

«Братцы, братцы, вы с войны,
Видали ль моего дружка?»
«Он был в бою одет в полковой зеленый цвет,
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
Вы видали моего дружка?»
«Когда пошли палить, бежал он во всю прыть,
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
Он не был ранен, мой дружок?»
«Я битву проглядел, был дым ужасно
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
Хочу я вынянчить дружка!»
«Он лежит в траве, с пулей в голове,
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
Пойду, помру с моим дружком».
«Глубокая могила их двадцать душ укрыла,
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
Есть что-нибудь на память от дружка?»
«Вот, я тебе принес густую прядь волос,
Поищи-ка нового дружка».

«Братцы, братцы, вы с войны,
И вправду для меня потерян мой дружок?»
«Тебя мне очень жаль, но когда пройдет печаль,
Возьми меня себе в дружки».

Старый! Новый!
Бери себе дружка,
Мертвым не помочь, вытри слезу прочь
И лучше-ка возьми его в дружки.

ХОЛЕРНЫЙ ЛАГЕРЬ

(Пехота в Индии)

В наш лагерь холера пришла — она ста боев злее,
И мы умираем в пустыне, как древние иудеи;
Она впереди, она позади, нам не уйти прочь,
И доктор сказал: у нас умерло десять в ночь.

Снимите лагерь и прочь — горны зовут,
Ливни льют.
Трупы прикрыты камнем и безопасны для нас!
Оркестр играет, чтобы ободрить нас;
Священник молится богу: в сей страшный час
Услышь нас,
Господи, ибо это нам смерть!

В августе началась, и шла по пятам за нами,
Думали маршем ее обогнать, уйти от нее поездами.
Но эшелонов быстрей она, и нам не уйти прочь,
И полковник ведомость подписал: десять смертей
в ночь!

Нам не до шуток с бабами, нет охот, и никто не
пьян;
Нам остается лишь думать, шагая под барабан;
Шакалов шакал в лощине вечерами сзывает помочь:
«Вставайте, нищие, нынче десять смертей в ночь!»

Смеялись бы обезьяны, на наши дела смотря, —
Как ротные командуют и суетятся зря.
Ефрейторы и сержанты — словно в бою, точь-в-точь,
Но все, чего мы добились, — десять смертей в ночь!

Полковник бледен, в тревоге, не ест, не спит, поседел,
Его удручает госпиталь, где мало хороших дел.
Он нас утешает часто — но как там пророчь, ни пророчь,
Что стоит сотня посулов, если десять смертей в ночь!

С тощего мула пастор нам распевает псалмы,
Над ерундой, что несет он, смехом исходим мы.
В черном весь, тараторящий, песней хочет помочь!
Он — подходящий «падре» для стольких смертей в ночь!

Отец Виктор, ярый католик, помогает ему,
Знает кучу ирландских песен, колдовских наговоров тьму;
Вместе они работают, молятся во всю мочь,
Так карусель и вертится — десять смертей в ночь!

В наш лагерь холера пришла, горяча и сладка она,
Она не праздничное питье, но мы выпьем его до дна.
Бояться ее не стоит, — стараясь страх превозмочь,
Мы колесим по округе с десятком смертей в ночь!

Снимите лагерь и прочь — ливни льют,
Горны зовут.
Трупы прикрыты камнем и безопасны для нас!
А кому камень мал пусть больший кладет,
Кто устоять не может, пусть перепрыгнет тот!

Когда-нибудь — здесь ли, там ли — придет
смертный час,
Мы можем отлично умереть и сейчас.
Слушай же, Первый Номер, приказ:
Срывай палатки, колышки сбей,
Брезент и веревки сложи, торопясь!
Снимите лагерь, и прочь скорей!
(Боже, спаси нас!)

Для-нас-все-вздор — голод, жажда, длинный путь,
Но-нет-нет-нет — хуже, чем всегда одно —
Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

Днем-все-мы-тут — и не так уж тяжело,
Но-чуть-лег-мрак — снова только каблуки.
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,
Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

ПЫЛЬ

(Пехотные колонны)

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке —
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Восемь-шесть-двенадцать-пять — двадцать миль на
этот раз,
Три-двенадцать-двадцать две — восемнадцать миль
вчера —
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Брось-брось-брось-брось — видеть то, что впереди,
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Все-все-все-все — от нее сойдут с ума,
И отпуска нет на войне!

Ты-ты-ты-ты — пробуй думать о другом,
Бог-мой-дай-сил — обезуметь не совсем!
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Счет-счет-счет-счет — пулям в кушаке веди,
Чуть-сон-взял-верх — задние тебя сомнут,
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

ФУЗЗИ-ВУЗЗИ

(Суданские экспедиционные войска)

Сражались за морем мы с многими людьми,
Случались храбрецы и трусы среди них:
С пайтанами, зулусами, бурми,
Но этот Фуззи стоил всех других.
Ни на полпенса не сдавался он:
Засев в кусты, он портил нам коней,
Он резал часовых, срывал нам связь колонн,
Играя в кошки-мышки с армиею всей.
Мы пьем за вас, Фуззи-Вуззи, за Судан, где родной ваш дом!
Вы были темным язычником, но первоклассным бойцом;
Мы выдадим вам свидетельство и, чтобы его подписать,
Приедем и справим встречу, лишь стоит вам пожелать.

•

Мы шли вслепую средь Хайберских гор,
Безумец-бур за милю в нас стрелял,
Бурми нам дал неистовый отпор,
И нас зулус проклятый предавал.
Но все, что мы от них терпели бед,
В сравненьи с Фуззи было лишь игрушкой:

«Мы проявляли доблесть» — по словам газет,
А Фуззи нас дырявил друг за дружкой.
Мы пьем за вас, Фуззи-Вуззи, за миссис и за малышей!
Нам дали задачу — разбить вас, и, конечно, мы справились с ней.
Мы били по вас из Мартини, жуля в честной игре,
Но в ответ на все это, Фуззи, вы нам прорвали каре!

Он о себе газет не известил,
Медалей и наград не получил потом,
Но *мы* свидетели, — он мастерски рубил
Своим двуручным боевым мечом.
С копьем, с щитом, как крышка от гробов,
Меж зарослей он прыгал взад-вперед:
Денечек против Фуззи средь кустов,
И бедный Томми выбывал на год.
Мы пьем за вас, Фуззи-Вуззи, и за ваших покойных друзей,
Мы бы вам помогли их оплакать, не оставь мы там *наших* людей,
Но мы хоть сейчас побожимся, что в этой честной игре,
Хоть вы потеряли больше, вы нам прорвали каре!

Он ринулся на дым под лобовым огнем, —
Мы ахнули: он смял передовых!
Живой он жарче пива с имбирем,
Зато, когда он мертв, он очень тих.
Он — уточка, барашек, резеда,
Модель резинового дурачка,
Ему и вовсе наплевать тогда
На действия британского полка.

Мы пьем за вас, Фуззи-Вуззи, за Судан, где родной
ваш дом!
Вы были темным язычником, но первоклассным
бойцом,
Оттого, что вы, Фуззи-Вуззи, с головою, как стог
на дворе,
Черномазый бродяга, прорвали британское каре.

МАРШЕМ ПО ДОРОГЕ

Уходим мы в резерв по солнечным полям,
Наступит скоро Рождество, и конец дождям.
Эй ты, обозник, сторонись! — трубы говорят.
По Большой дороге маршем двинулся отряд.
Кто покрепче, марш вперед,
Кто слабее — позади,
Все стоянки, как одна, в этот наш поход.
Барабан стучит,
Тараторит, знай, свое:
«Кико Киссиварсти — что вы хамшер арджи джо?» [1]
Сколько хочешь старых храмов в глубине долин,
Обезьяны на деревьях и, куда ни плюнь, — павлин;
И серебряные травы долу клонятся чуть-чуть,
Позади ремнем ружейным растянулся пыльный путь.
Кто покрепче, марш вперед...

Только зорю спели трубы, на заре в шестом часу
Мы палатки собираем, как грибы в глухом лесу.

---

[1] Что вы мешкаете?

Все окончено в минуту, полк выходит ровно в шесть,
Нашим женам и ребятам на телеги нужно лезть.
Кто покрепче, марш вперед. . .

А потом, как скажут «вольно», курим трубки и поем,
И толкуем о пайках мы, или мало ли о чем;
О знакомых вспоминаем три часа подряд,
Как они бы удивились, услыхав наш местный «бат».[1]
Кто покрепче, марш вперед. . .

Не плохо в воскресенье под деревьями лежать,
Следить, как коршун мчится ввысь и падает опять,
Правда, баб не видно что-то, но казармы тоже нет,
Офицеры — на охоте, Томми дуются в пикет.
Кто покрепче, марш вперед. . .

Эй вы, рохли-новобранцы, — вы ворчите до сих пор?
Есть маршруты и похуже, чем Умбалла — Каунпор.
Коль в кровь разбиты пальцы и на ступне мозоль,
Носки и стельки жиром смажь — в момент утихнет боль.

---

[1] Язык. Томми твердо и нерушимо уверен в том, что он — глубочайший знаток восточных языков и отлично говорит на «индустани». На самом же деле он пользуется преимущественно языком жестов. *Прим. Р. Киплинга.*

Кто покрепче, марш вперед. . .
Уходим мы в резерв по индийским берегам,
Восемьсот солдат английских и Полковник сам.
Эй ты, обозник, сторонись! — трубы говорят,
По Большой дороге маршем двинулся отряд.
Кто покрепче, марш вперед,
Кто слабее — позади,
Все стоймя, как одна, в этот наш поход.
Барабан стучит,
Тараторит, знай, свое:
«Кико Киссиварсти — что вы хамшер арджи джо?»

ДОМОЙ

(Английская армия на Востоке)

В ногу, в ногу — берег недалек:
Зима пришла, но нам плевать — мы отслужили срок!
О мертвых не тужите, их не возьмешь с собой
Туда, где пароход грузят, что повезет домой.
Идем домой, идем домой,
Уже гудки гудят,
На плечи лег тугой мешок,
Мы не придем назад!
Не плачь же, Мэри Энн,
Без милой — не житье,
И как только вернусь, на тебе я женюсь,
Я отслужил свое!

На рейде «Малабар» стоит, и «Джумнер» позади;
Теперь команды ожидай, на берегу сиди.
О, тяжело сидеть и ждать в грязи порой ночной,
Но мы ведь той команды ждем, что нас пошлет домой!

...етых в плохонький мундир, нас в Портсмут привезут,
...ас ни слякоть, ни дожди, ни лужи не проймут.

Нас лихорадка, верно, ждет — о, их мундир дрянной! —
Чорт побери озноб и жар, нас повезут домой!

В ногу, в ногу — вот зима опять,
Новобранцы — тут как тут, им вместо нас шагать.
Эй вы, придется попотеть за ваш паек пустой;
Что слышно в Лондоне, друзья? Нас повезут домой.

В ногу, в ногу! И последнее ура.
За английских женщин! Нам домой пора!
Все, кто еще остался здесь — полковник, рядовой, —
Спаси их бог. А мы — адью! Нас повезут домой!

Идем домой, идем домой,
Уже гудки гудят,
На плечи лег тугой мешок,
Мы не придем назад,
Не плачь же, Мэри Энн,
Без милой — не житье,
И как только вернусь, на тебе я женюсь,
Я отслужил свое!

МАНДАЛЕЙ

Возле пагоды Мульмейна, на восточной стороне,
Знаю, девочка из Бурмы вспоминает обо мне, —
И поют там колокольцы в роще пальмовых ветвей:
Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей,
Возвращайся в Мандалей,
Где стоянка кораблей,
Слышишь, хлопают колеса
Из Рангуна в Мандалей,
На дороге в Мандалей...
Плещет рыб летучих стая,
И заря, как гром, приходит
Через море из Китая.

В волосах убор зеленый, в желтой юбочке она,
В честь самой царицы Тибау Супи-Яу-Лат названа.
Принесла цветы, я вижу, истукану своему,
Расточает поцелуи христианские ему.
Истукан тот — божество,
Главный Будда — звать его.
Тут ее поцеловал я,
Не спросившись никого.
На дороге в Мандалей...

А когда над полем риса меркло солнце, стлалась мгла,
Мне она, под звуки банджо, песню тихую плела.

На плечо клала мне руку, и, щека с щекой тогда,
Мы глядели, как ныряют и вздымаются суда
Как чудовища в морях,
На скрипучих якорях,
В час, когда кругом молчанье
И слова внушают страх.
На дороге в Мандалей...

Это было и минуло, не вернуть опять тех дней,
И не ходят омнибусы мимо Банка в Мандалей!
В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:
Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов,
Помнит пряный дух цветов,
Шелест пальмовых листов.
Помнит пальмы, помнит солнце,
Перезвон колокольцов,
На дороге в Мандалей...

Я устал сбивать подошвы о булыжник мостовых,
И английский мелкий дождик сеет дрожь в костях моих,
Пусть гуляю я по Стрэнду с целой дюжиной девиц,
Мне противны их замашки и румянец грубых лиц.
Про любовь они лопочут,
Но они не нужны мне, —
Знаю девочку милее
В дальней солнечной стране.
На дороге в Мандалей.

От Суэца правь к востоку, где в лесах звериный след,
Где ни заповедей нету, ни на жизнь запрета нет.
Чу! запели колокольцы! Там хотелось быть и мне,
Возле пагоды у моря, на восточной стороне.

На дороге в Мандалей.
Где стоянка кораблей,
Сбросишь все свои заботы,
Кинув якорь в Мандалей!
О, дорога в Мандалей,
Где летает рыбок стая,
И заря, как гром, приходит
Через море из Китая.

Р. Киплинг

МАНДАЛЕЙ

На Восток лениво смотрит обветшалый, старый храм,
Знаю, девушка из Бурмы обо мне скучает там.
Ветер в пальмах кличет тихо, колокольный звон
смелей:
К нам вернись, солдат британский, возвращайся
в Мандалей!
Возвращайся в Мандалей,
Где стоянка кораблей,
Слышишь, плещут их колеса из Рангуна
в Мандалей,
Рыб летучих веселей,
На дороге в Мандалей,
Где заря приходит в бухту, точно гром
из-за морей.

В желтой юбке, в синей шляпке, — не забыл ее
наряд.
Как царица их, носила имя Супи-Яу-Лат.
В вечер тот она курила, от сигары шел дымок,
Целовала жарко пальцы скверных идоловых ног.
Этот идол, вот беда,
Ихний главный бог Будда,
Но о нем, меня увидев, позабыла навсегда.
На дороге в Мандалей. . .,

Полз туман над полем риса, солнце медленно брело,
Банджо взяв, она играла, напевала: «Кулла-ло!»
На закате, прижимаясь горячо к щеке щекой,
Шла со мной смотреть на хатис, тик грузивших
день-деньской,
На слонов, что день-деньской
Носят доску за доской.
Слово молвить было страшно, так
недвижен был покой,
На дороге в Мандалей...

Все давным-давно минуло, и прошло немало дней,
А из Лондона не ходят омнибусы в Мандалей;
И теперь я понимаю, что солдаты говорят:
«Кто услышал зов Востока, тянет всех туда назад».
Тянет всех туда назад
В пряный, пьяный аромат,
В край, где солнце, и заливы, и колокола
гремят.
На дороге в Мандалей...

Мне противно рвать подошвы о каменья мостовых,
И от мороси английской ломота в костях моих.
Сколько хочешь здесь служанок, но по мне они не
в счет;
О любви они болтают, ну и глупый же народ!
Руки-крюки, в краске рот,
Ну, и глупый же народ.
Нет, меня в стране зеленой девушка,
тоскуя, ждет,
На дороге в Мандалей...

За Суэцом, на Востоке, где мы все во всем равны,
Где и заповедей нету, и на людях нет вины,

Звоном кличут колокольни: о, скорее быть бы там,
Где стоит на самом взморьи обветшалый, старый
храм.
На дороге в Мандалей,
Где стоянка кораблей,
Положив больных под тенты, мы летели
в Мандалей,
Рыб летучих веселей!
О, дорога в Мандалей,
Где заря приходит в бухту, точно гром
из-за морей.

ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Куря обгоревшую трубку, вдыхая прохладу и дым,
Шагаю в коричневых крагах за коричневым мулом
моим;
За мной шестьдесят канониров, и Томми ничуть не
соврет,
Коль скажет, что к пушкам приставлен лишь самый
отборный народ. Тсс! Тсс!
Вы все обожаете пушки, они в вас не чают души!
Подумайте, как бы нас встретить, когда мы
нагрянем в тиши.
Пришлите Вождя и сдавайтесь — другого вам нету
пути,
Разбегайтесь в горах или прячьтесь в кустах, вам
от пушек никак не уйти!

Нас гонят туда, где дороги, но чаще туда, где их нет,
Мы могли бы взобраться на крыши, но нам
утомляться не след.
Мы Нага смирили и Лушай, Афридиям дали сполна,
Мы думаем — нас две тысячи, а всего-то нас два
звена. Тсс! Тсс!
Вы все обожаете пушки. . .

Он не хочет работать? Ладно, он забудет у нас
баловство!

Он не любит походного марша? Мы убьем и
зароем его!
Не носитесь зря и без толку, пожалуйста, без
болтовни!
В полевой артиллерии трудно? Попотей-ка у нас
и сравни! Тсс! Тсс!
Вы все обожаете пушки...

Орлы раскричались над нами, реки замирающий рев,
Мы выше тропинок и сосен, — на скалах, где
снежный покров.
И ветер, стегающий плетью, доносит до самых степей
Бряцание сбруи и топот, и звяканье звонких цепей.
Тсс! Тсс!
Вы все обожаете пушки...

Колесо на Созвездии утра, от другого до Бездны
вершок,
И провал в неизвестность под нами — прямей, чем
солдатский плевок.
Пот застилает глаза нам, их снег и солнце слепят,
И держит орудье над бездной чуть ли не весь отряд.
Тсс! Тсс!
Вы все обожаете пушки...

Куря обгоревшую трубку, вдыхая прохладу и дым,
Я лезу в коричневых крагах за коричневым мулом
моим.
Знаком обезьяне маршрут наш, и знает коза, где мы
шли,
Стой, стой, длинноухие. К пушкам! Прочь цепи!
Шрапнелью их! Пли! Тсс! Тсс!

Вы все обожаете пушки, они в вас не чают души

Подумайте, как бы нас встретить, когда мы нагрянем в тиши.
Пришлите Вождя и сдавайтесь — другого вам нету пути,
Прячьтесь в ямы и рвы, там и сдохнете вы, вам от пушек никак не уйти.

КАРЦЕР

Моя голова — как гармошка, язык — словно гиря во рту,
И губы — как мятый картофель, и чувствую я тошноту.
Но запомнит все ж караул меня, не забудет меня капрал,
И теперь я в тюрьму угодил потому, что в морду капралу я дал.

Второсрочной, шинелью на койке укрыт,
Я во двор сквозь решетку взглянул...
Неплохая муштра — две недели З. К.[1]
«За драку и пьяный разгул»,
За буйство и пьяный разгул...
Но все же запомнит меня караул!
Неплохая муштра — две недели З. К.
За то, что капрала я вздул!

Я с портера начал в харчевне, и портер сменил я вином,
Но порцию виски в харчевню пронес мой товарищ тайком.
И скрутил двойной караул меня, в лепешку смяли нос,

---

[1] З. К. — заключение в карцер.

Но в конце концов часть капральских усов на память
с собой я унес.
Я кепи оставил в харчевне, забыл сапоги на шоссе,
Где пояс и куртка — не знаю... И будьте вы
проклято все!
Пусть не платят мне и нашивки мои велят они
спороть, —
На капрале знак я поставил так, что не выведет
даже господь!

Жена моя плачет с мальчонкой у грязных тюремных
ворот,
Ее я жалею немножко... А прочих пусть дьявол
возьмет!
Присягну семье вечно трезвым быть и виски в рот
не брать,
Но в харчевню придя и друзей там найдя, — как
стелька напьюсь я опять!

Второсрочной шинелью на койке укрыт,
Я во двор сквозь решетку взглянул...
Неплохая муштра — две недели З. К.
«За драку и пьяный разгул»,
За буйство и пьяный разгул...
Но все же запомнит меня караул!
Неплохая муштра — две недели З. К.
За то, что капрала я вздул!

СОЛДАТ И ОН ЖЕ МОРЯК

(Королевская морская пехота)

Я с борта «Крокодила» вниз плевал на целый свет,
Вдруг на линкоре, вижу, моряк, в солдатскую
форму одет.
«Кто вы такой?» — его я спросил, он с досок
соскабливал лак,
Он ответил: «Я — Джолли, [1] ее величества Джолли,
солдат и он же моряк!»
Он бог весть, когда начинает работу, а докончит
ее не всяк,
Он не солдат регулярных войск и не матрос уж
никак,
Он прямо какой-то гармуфродит, солдат и он же
(гермафродит) моряк!

С тех пор я повсюду его встречал, и все ему нипочем,
При одной скорострельной воюет он с языческим
королем,
Спит не на койке, а в гамаке, и школа его — полубак,
И потеет, как Джолли, ее величества Джолли,
солдат и он же моряк!

---

[1] Ласкательная кличка для солдат Королевской морской пехоты.

И на земле любое дело для этого парня пустяк,
Ночью на шлюпке, под носом судна — он смело
гребет во мрак,
Он просто чертов космопулист — солдат и он же
моряк!

Мы дрались в порту и в казармах и вместе пили
с тоски,
Они нас звали «блюющие прачки», мы их —
«ослиные моряки»,
Когда ж от Вулвича до Бернардмиу всех замучают,
как собак,
Прет на выручку Джолли, ее величества Джолли,
солдат и он же моряк!
О себе не забудет, крадет для себя, и он далеко
не дурак:
На постое он сыт, проснулся и сыт, пока возимся
мы кое-как,
Он не какой-нибудь прокраститут, он солдат и он
же моряк!

Вы думаете, что мы любим рубить иль стрелять
наобум,
Что любим против гвардейцев подымать, как
школьники, шум,
Но в жизни раз ждет гибель нас, — пусть любуется
друг и враг, —
Совсем, как Джолли, ее величества Джолли, солдат
и он же моряк!
Они из нашей породы, мы ходим в один кабак,
Кроме дюйма на шее и рукаве, мы двойняшки этих
бродяг,

Ведь он не какая-нибудь хризантема, он — солдат
и он же моряк!

Счастье пытать во время атаки, пусть огонь и
ложится част,
Вовсе не плохо, коль есть прикрытие, а ты
покричать горазд;
На «Биркенхеде» [1] смирно стоять — это похуже атак,
И это смог Джолли, ее величества Джолли, солдат
и он же моряк,
Дело кончилось их, едва началось; их выбор быстро
иссяк:
Либо кучей тонуть, либо слушать насмешки
морских забияк,
На «Биркенхеде» смирно стоял солдат и он же
моряк!

Среди нас есть лгуны и немало воров, и никто из
нас не герой,
Но в жизни раз ждет гибель нас (что, надеюсь, не
будет со мной),
Но чтобы увидеть всех в лучшем свете, стоит лишь
вспомнить, как
Тонул на «Виктории» [2] Джолли, солдат и он же
моряк!

Говорить, что не знаешь, смешно, если ясно для
всех, как пятак, —

---

[1] Войсковой транспорт, погибший на камнях близ мыса Доброй Надежды в 1852 г.

[2] Броненосный корабль «Виктория» погиб 23 июня 1893 г. у берегов Сирии от столкновения с «Кампердауном» во время маневров.

Вдова ли идет, идет ли корабль, костьми коли нужно ляг,
Что и сделал Джолли, ее величества Джолли, солдат и он же моряк!

САПЕРЫ

(Королевские инженеры)

Чуть из хлябей явился земной простор
(«Так точно!» — сказал сапер),
Господь бог сотворил Инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

И когда был потоп и свирепый муссон,
Это Ной сконструировал первый понтон
По чертежу инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Поработавши в сырости, солнцем палим,
Захмелел старый Ной, чего не было б с ним,
Если б жил он среди инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

И когда с Вавилонскою башней был крах,
Дело было у ловких гражданцев в руках,
А не в руках инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

И когда под холмом у Евреев шел бой
Сын Навинов скомандовал солнцу: «Стой!»
Потому, что он был капитаном
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Перестали в кирпич солому класть,
Это первой делала наша часть,
Это дело господ инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Потому-то с тех пор от войны до войны
Страницы истории нами полны,
С первых же строк — инженеры
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Мы дороги для них пролагаем всегда,
Через заросли джунглей ведем поезда
По обычаю инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

С фугасом и миной шлют нас вперед,
И то, что пехота атакой возьмет,
Сначала взорвут инженеры
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

С киркою и заступом шлют нас назад
Копать окопы для тех бригад,
Что позвали господ инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

С полной выкладкой под охраной трудясь,
Мы месим для этих язычников грязь,
А потом шлют в тыл инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Мы сушим болото, взрываем утес,
А они с путей летят под откос
И доносят на инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Мы им строим колодцы, мосты, очаги,
Телеграфы, —а провод срезают враги,
И за это бранят инженера
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

И когда мы вернемся и будет мир,
Из зависти не разукрасят квартир,
Предназначенных для инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Мы им строим казармы, они же кричат,
Что полковник, — сектант, сумасброд и женат,
Оскорбляя нас, инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Нет благодарности в них искони,
Чем сильней наша помощь, тем больше они
Изводят нас, инженеров
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Что пехота? С винтовкой в руке человек!
А конница? Так, лошадиный бег!
Все дело в одних инженерах
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Артиллерия — та чересчур тяжела,
Только мы одни и вершим дела,
Потому что мы инженеры
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

Спору нет, за других и понюшки не дашь
(«Так точно» — сказал Сапер!),
И один только корпус хорош, — это наш,
Нас зовут — господа инженеры
Инженерных ее величества Войск
С содержаньем и в чине Сапера.

V

ЕВАРРА И ЕГО БОГИ

Читай:
Вот повесть об Еварре-человеке,
Творце богов в стране за океаном.

Затем, что город нес ему металл
И бирюзу возили караваны,
Затем, что жизнь его лелеял Царь,
Так что никто не смел его обидеть
И болтовней на улице нарушить
Его покой в час отдыха, он сделал
Из жемчуга и злата образ бога
С глазами человека и в венце,
Чудесный в свете дня, повсюду славный,
Царем боготворимый; но, гордясь,
Затем, что кланялись ему, как богу,
Он написал: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И город чтил его... Потом он умер.

Читай повествованье об Еварре,
Творце богов в стране за океаном.

Затем, что город не имел богатств,
Затем, что расхищались караваны,
Затем, что смертью Царь ему грозил,

Так что на улице над ним глумились.
Он из живой скалы в слезах и в поте
Лицом к восходу высек образ бога.
Ужасный в свете дня, повсюду видный,
Царем боготворимый; но, гордясь,
Затем, что город звал его назад,
Он вырезал: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И чтил его народ... Потом он умер.

Читай повествованье об Еварре,
Творце богов в стране за океаном.

Затем, что был простым его народ
И что село лежало между гор,
И мазал он овечьей кровью щеки,
Он вырезал кумира из сосны,
Намазал кровью щеки, вместо глаз
Вбил раковину в лоб, свил волоса
Из мха и сплел корону из соломы.
Его село хвалило за искусство,
Ему несли мед, молоко и масло,
И он, от криков пьяный, нацарапал
На том бревне: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И чтил его народ... Потом он умер.

Читай повествованье об Еварре,
Творце богов в стране за океаном.

Затем, что волей бога капля крови
На волос уклонилась от пути
И горячила мозг его, Еварра,
Изодранный, бродил среди скота,

Шутя с деревьями, считая пальцы,
Дразня туман, пока не вызвал бог
Его на труд. Из грязи и рогов
Он вылепил чудовищного бога,
Комок нечистый в паклевой короне
И, слушая мычание скота,
Он бредил кликами больших народов
И сам рычал: «Так делают богов,
Кто сделает иначе, тот умрет».
И скот кругом мычал... Потом он умер.

И вот попал он в Рай и там нашел
Своих богов и то, что написал,
И, стоя близко к богу, он дивился,
Кто смел назвать свой труд законом бога,
Но бог сказал, смеясь: «Они — твои».
Еварра крикнул: «Согрешил я!» — «Нет!
Когда б ты написал иначе, боги
Покоились бы в камне и руде,
И я не знал бы четырех богов
И твоего чудесного закона,
Раб шумных сборищ и мычащих стад».

Тогда, смеясь и слезы отирая,
Еварра выбросил богов из Рая.

Вот повесть об Еварре-человеке,
Творце богов в стране за океаном.

ДВОРЕЦ

Каменщик был и Король я — и, знанье свое ценя,
Как Мастер, решил построить Дворец, достойный
меня.
Когда разрыли поверхность, то под землей нашли
Дворец, как умеют строить только одни Короли.

Он был безобразно сделан, не стоил план ничего,
Туда и сюда, бесцельно, разбегался фундамент его.
Кладка была неумелой, но на каждом я камне читал:
*«Вслед за мною идет Строитель. Скажите ему —
я знал».*

Ловкий, в моих проходах, в подземных траншеях
моих,
Я валил косяки и камни и заново ставил их.
Я пускал его мрамор в дело, известью крыл Дворец,
Принимая и отвергая то, что оставил мертвец.

Не презирал я, не славил; но, разобрав до конца,
Прочел в низвергнутом зданьи сердце его творца.
Словно он сам рассказал мне, стал мне понятным
таким
Облик его сновиденья в плане, задуманном им.

. . . .

Каменщик был и Король я, — в полдень гордыни моей,
Они принесли мне Слово, Слово из Мира теней,
Шепнули: «Кончать не должно! Ты выполнил меру работ,
Как и тот, твой дворец — добыча того, кто потом придет».

Я отозвал рабочих от кранов, от верфей, из ям,
И все, что я сделал, бросил на веру неверным годам.
Но надпись носили камни, и дерево, и металл:
«*Вслед за мною идет Строитель. Скажите ему — я знал*».

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ВЕРНОГО ТОМАСА

Король священника позвал,
Король взял шпоры и клинок,
Чтоб Томаса в рыцари посвятить,
И все из-за песен, что петь он мог.

Низко искали его, высоко,
Искали на дюнах и на лугах,
Нашли, где терновник молочно-бел, —
У Волшебных ворот он стоял на часах.

Кверху сине, покато вниз,
Ослепленные очи видят едва.
Коровы пасутся среди холмов,
О, это Царицы волшебства!

«Довольно петь! — сказал Король, —
Довольно песен! Помолчим!
Дай клятву, стереги твой меч,
Ты будешь рыцарем моим.

Потому что я дам тебе коня,
Оруженосца и пажей,
И герб, и крепость, и закон,
И землю, чтоб владел ты ей».

Но верный Томас над арфой вздохнул
И поднял лицо свое к небесам,
Гоним дыханием ветров,
Чертополох носился там.

«В другом я месте клятву дал,
И горше клятвы мне не знать,
Я стерег свой меч в бесконечную ночь,
Там, где сотня бойцов обратилась бы
вспять.

Мое копье из живого огня,
И щит мой выбит холодной луной;
Я шпоры добыл в Сердцевине миров,
Тысячу сажен под землей.

И что бы я делал с твоим конем,
И зачем мечу твоему был бы рад?..
Чтоб уничтожить ряды Дворян?
Чтоб ускакать в Волшебный град?

Зачем мне герб, зачем закон,
Зачем оруженосец мне,
Зачем мне крепость и земля?
Я сам Король в своей стране.

Я пошлю на запад, пошлю на восток,
Когда моя воля будет послать,
На заре, и в сумрак, и в сильный дождь,
И вернутся Послы ко мне опять.

Они принесут мне стон земли,
Они принесут океанский вздох,
И речи Тела, Ума и Души,
И человека среди этих трех».

Король закусил до крови губу
И сказал, по колену ударив себя:
«Верный Томас, клянусь своей душой,
Любезным нельзя назвать тебя.

Я гордых графов делать могу,
Столько, сколько хочу я сам,
Чтоб сзади скакали и шли впереди,
И покорно служили моим сынам».

«Какое мне дело до графов твоих?
Какое дело до сыновей?
Чтоб добиться славы, они должны
Считаться с волею моей.

Я делаю Славу множеством ртов,
Рассылаю Позор на легких ногах,
Чтоб пелось на улицах людьми,
С собаками бегало на площадях.

И платят золотом мне одни,
И другие платят мне серебром,
И третьи жалкий дают кусок,
Потому что беден и пуст их дом.

И то, что за золото я пою,
То же пою я за серебро,
Но лучшая песня моя звучит
Беднякам за жалкое их добро».

Бросил Король серебряный грош,
Шотландской чеканки серебряный грош,
«За нищенский дар, — промолвил он, —
Верный Томас, ты, может быть, мне споешь?»

«Когда маленьким детям я пою,
Меня обступает их тесный ряд.
Но кто же ты, — Верный Томас сказал, —
Что сидишь на коне, там, где дети стоят?

Ты много и громко говоришь. .
Слезай, слезай с твоего коня!
Тебе три слова я пропою,
Коль посмеешь, потом посвятишь меня».

Король сошел с своего коня,
Прислонился к утесу и затих.
«Теперь берегись, — Верный Томас
сказал, —
Я вырву сердце из ребер твоих».

Верный Томас на арфе своей заиграл,
На той, что умела быть грозой,
И первое слово вдруг обожгло
Глаза Короля соленой слезой.

«Я вижу любовь, что давно потерял,
Надежду, которой не видеть дня,
Все тайно-позорное, что совершил,
Как змеи, шипит вокруг меня.

В полдень потерян солнечный свет,
Предсмертный ужас меня обхватил,
Верный Томас, под плащ меня спрячь,
Видит бог, что нет уже больше сил!»

Кверху сине, покато вниз,
Средь широких полей и текущих вод,
Где солнце в траве, во рву, на стене
Горячо согревало змеиный род.

«Ложись, ложись! — Верный Томас
сказал, —
Все свершится, а там лишь бог — Судья.
Но я лучше слово тебе скажу,
Подыму облака, что надвинул я».

Верный Томас на арфе своей заиграл,
И гремела она, словно музыка сеч.
Услышав второе слово, Король
Схватил коня, схватил свой меч.

«Я слышу тяжелый шаг бойцов,
И солнце пики и копья зажгло,
Раздвигая лесной кустарник, стрела
Низко летит и поет светло.

Двигай знамена мои на войну,
Пусть рыцари скачут во весь опор,
Увидит коршун свирепый бой,
Какого не видывал до сих пор».

Кверху сине, покато вниз,
Средь голых небес и кивающих трав,
Там, где сражаясь с мощью ветров,
На сороку кобчик летит стремглав.

Верный Томас вздохнул над арфой своей,
И песнь зазвенела на средней струне,
И последнее слово, что Томас запел,
Короля вернуло к его весне.

«Я — князь, и я делаю хорошо:
Что без страха люблю ту, что любит меня
Называю другом, кого хочу,
И за оленем гоню коня.

Его насмерть затравят псы мои, —
Оленю гордому больше не жить,
Милая ждет меня у окна,
Чтоб от крови руки мои отмыть.

Для того я живу, довольный собой,
(О, в глаза любви заглянул я сам!),
Чтоб стоять с Адамом в Райском саду
И чтоб скакать по Райским лесам».

Средь голых небес и кивающих трав,
Средь широких ветров и текущих вод,
Где, самку свою поджидая, олень
Заслонил собою открытый проход.

Верный Томас арфу свою опустил,
И низко он наклонил чело,
И стремя взял, и подал узду,
И посадил Короля в седло.

«Спишь ты иль нет? — Верный Томас сказал, —
Что ты так тих, что молчишь так давно?
Спишь ты иль нет? До последнего сна
Моей песни тебе не забыть все равно.

Я игрою вызвал от солнца тень,
Что стоит пред тобой, и кричит, и зовет,
Я землю зажег под твоей ногой,
Над твоей головой затемнил небосвод,

Тебя поднял я в небо, где божий престол,
Тебя бросил я вниз, в Петли огня,
Натрое душу твою разорвал,
А — ты — рыцарем — вздумал — сделать меня?»

КОРОЛЕВА

«Романтика, прощай навек!
С резною костью ты ушла, —
Сказал пещерный человек, —
И бьет теперь кремнем стрела.
Бог Плясок больше не в чести.
Увы, романтика! Прости!»

«Ушла! — вздыхал народ озер, —
Теперь мы жизнь влачим с трудом,
Она живет в пещерах гор,
Ей незнаком наш свайный дом.
Холмы, вы сон ее блюсти
Должны. Романтика, прости!»

И мрачно говорил солдат:
«Кто нынче битвы господин?
За нас сражается снаряд
Плюющих дымом кулеврин.
Удар никак не нанести!
Где честь? Романтика, прости!»

И говорил Купец, брезглив:
«Я обошел моря кругом,
Все возвращается прилив,

И каждый ветер мне знаком.
Я знаю все, что ждет в пути
Мой бриг. Романтика, прости!»

И возмущался Капитан:
«С углем исчезла красота,
Когда идем мы в океан,
Рассчитан каждый взмах винта.
Мы, как паром, из края в край
Идем. Романтика, прощай!»

И злился дачник, возмущен:
«Мы ловим поезд чуть дыша,
Бывало, ездил почтальон,
Опаздывая, не спеша.
О, чорт!» Романтика меж тем
Водила поезд девять-семь.

Послушен под рукой рычаг,
И смазаны золотники,
И будят насыпь и овраг
Ее тревожные свистки;
Вдоль доков, мельниц, рудника
Ведет умелая рука.

Так сеть свою она плела,
Где сердце — кровь и сердце — чад,
Каким-то чудом заперта
В мир, обернувшийся назад.
И пел певец ее двора:
«Ее мы видели вчера!»

СКАЗАНИЕ ОБ АНГЕ

Раз, на сверкающей льдине, то было очень давно,
Анг человека из снега вылепил в утро одно,
Родича внешность он придал статуе, как на заказ.
Анг был великий художник. *Слушай об Анге
рассказ!*

Родичи Анга сбежались, — нюхали, щупали снег,
Все перещупав, решили: «Это совсем человек!
Держит копье он, как люди, так же обут и одет;
Все одинаково с нами! Ангу хвала и привет!»

Зубра с Медведем со скуки вырезал Анг на кости,
Вырезал он Мастодонта — тушу в мохнатой шерсти,
Тигра, что нес человека, в острых, как сабли,
зубах —
Все это четко и точно вырезал Анг на костях.

Снова сбежалось все племя — сотни четыре голов, —
Люди скалистых заливов, люди высоких холмов,
Охотники и рыболовы, и проворчали: «Ей-ей!
Все это так, но откуда знает он этих зверей?!

Анг разве спал с Мастодонтом или на зубра ходил,
Или на льдине с Медведем запросто он говорил?
Нет, — это выдумки Анга, он и теперь, как тогда,
С тем человеком из снега, нас обманул без стыда!»

Анг рассердился ужасно, крикнул он, сжав кулаки:
«Охотники и рыболовы, дети вы и дураки!
Вы бы на ловле старались этих зверей разглядеть!»
Быстро к отцу побежал он, горя не в силах стерпеть.

Анг рассказал о позоре, и рассмеялся отец,
Был он всеведущ в искусстве и знаменитый мудрец.
«Если бы глаз их, — сказал он, — зорок был так
же, как твой,
Сами б они рисовали, что тогда было б с тобой?

Не было б шкуры оленьей здесь, у пещеры твоей,
Не было б острых иголок, раковин и янтарей,
Ни превосходных бизоньих, теплых еще языков,
И ни заплывшего салом мяса гренландских китов.

Оледенелые в бурю ты не таскал невода,
Судна военного в море ты не водил никогда,
Все ж тебе люди приносят шкуры и дичь, и
питье,
Дар за твое вдохновенье и за искусство твое.

Ты не преследовал зубра, как же ты хочешь, чтоб
мог
В битве охотник увидеть каждый его волосок,
Или у Мамонта складки на волосатой губе?
Все же, убив его, тащут лучшие части тебе.

Вот и сейчас в изумленьи люди разинули рты
Перед твоею работой, — славен средь племени ты!
Но, сомневаясь в сходстве, правы, конечно, они.
Сын мой, что видит так ясно, ты им подарки верни!»

Анг дорогие подарки молча в руках повертел,
Анг осмотрел свои руки и рукавицы надел,
И, покидая пещеру, он услыхал за спиной:
«Радуйся, что эти люди слепы, мой сын дорогой!»

Анг не теряя минуты, снова на белой кости
Вырезал, точно живого, Мамонта в длинной шерсти,
Весело пел и свистел он, благословляя сто раз
За слепоту свое племя. *Помни об Анге рассказ.*

В НЕОЛИТИЧЕСКОМ ВЕКЕ

В те глухие времена шла упорная война
За еду, за славу и за теплый мех;
Клана моего певцом был я, и я пел о том,
Что пугало или радовало всех.

Пел я! И пою сейчас о весне, что в первый раз
Лед бискайский погнала перед собой;
Гном, и троль, и великан, боги страшных горных стран
Были вкруг меня, со мной и надо мной.

Но нашел мой стиль «outré» критикан из Солютре, — [1]
Томагавком разрешил я этот спор,
И свой взгляд я утвердил на искусство тем, что вбил
В грудь Гренельского гравера свой топор.

И, покончив с ними так, ими накормил собак,
А зубами их украсил я ремни
И сказал, крутя усы: «Хорошо, что сдохли псы,
Прав, конечно, я, а не они».

---

[1] Солютре — пещера, в которой были найдены памятники искусства каменного века.

Но, позор увидя мой, тотем шест покинул свой
И сказал мне в сновиденьи: «Знай теперь, —
Девяносто шесть дорог есть, чтоб песнь сложить ты мог,
И любая правильна, поверь!»

. . . .

И сомкнулась тишина надо мной, и боги сна
Изменяли плоть мою и мой скелет;
И вступил я в круг времен, к новой жизни возрожден,
Рядовой, но признанный поэт.

Но, как прежде, тут и там делят братья по стихам
Тушу зубра в драке меж собой.
Богачи тех мрачных дней не держали писарей,
И у Берна [1] наши песни под водой.

И теперь, в культурный век, все воюет человек —
Бьем, терзаем мы друг друга злей и злей,
И высокий долг певца не доводим до конца,
Чтобы выучить работать дикарей.

Мир еще огромный дом, — семь морей лежат на нем,
И не счесть народов разных стран;
И мечта, родившись в Кью, станет плотью в Катмандью,
Вора Клепэма накажет Мартабан. [2]

Вот вам мудрость навсегда, — я узнал ее, когда
Лось ревел там, где Париж ревет теперь:
«Девяносто шесть дорог есть, чтоб песнь сложить ты мог,
И любая правильна, поверь!»

---

[1] Берн — кантон в Швейцарии с большим количеством озер.
[2] Кью, Клепэм — пригороды Лондона; Катмандью, Мартабан — города в Индии.



Когда намалюют картину последнего утра земли,
И критик последний погибнет, и краски поблекнут в пыли,
Тогда мы все — тысячелетье иль два — отдохнем без забот,
Пока нас в свою мастерскую Хозяин опять призовет.

И тот, кто трудился, тот будет, на стуле воссев золотом,
Холсты многомильные мазать летящей кометы хвостом,
Он Павла, Петра, Магдалины напишет достойный портрет,
И каждый сеанс будет длиться по триста, четыреста лет.

Сам Мастер нелицеприятно оценит итоги труда,
Никто ради денег иль славы стараться не будет тогда,
Но каждый, за счастье работать, с планеты отдельной своей,
Напишет все Вещи, как видит, для Господа Сущих Вещей

VI

ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, —
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

LA NUIT BLANCHE

Словно в зареве пожара
Я увидел на заре,
Как прошла богиня Тара,
Вся сияя, по горе.
Изменяясь, как виденья,
Отступали горы прочь.
Было ль то землетрясенье,
Страшный суд, хмельная ночь?

В утра свежем дуновеньи
Видел я — верблюд ко мне
Вне законов тяготенья
Подымался по стене;
И каминная задвижка
Пела с пьявками, дрожа,
Распаленная мартышка
Сквернословила, визжа.

С криком несся в дикой скачке
Весь багровый, голый гном,
Говорили о горячке
И давали в ложке бром,
А потом загнали в нишу
С мышкой, красной как луна,
Я просил: «Снимите крышу,
Давит голову она!»

Я молил, ломая руки, —
Врач сидел как истукан, —
Что меня спасти от муки
Может только океан.
Он плескался подо мною,
Пену на берег гоня,
И понадобились трое,
Чтобы сбросить вниз меня.

И шампанским зашипели,
Закружились надо мной
Семь небес, как карусели,
И опять возник покой;
Но осталась, чуть мигая,
Вкось прибитая звезда,
Я просил сестру, рыдая,
Выпрямить ее тогда.

Но молчанье раскололось,
И в мой угол донесло,
Как диктует дикий голос
Бесконечное число
И рассказ: «Она сказала,
Он сказал и я сказал. . .»,
А луну, что мне сияла,
В голове я отыскал.

И слепец какой-то, плача,
Слез не в силах удержать,
Укорял меня, что прячу
Где-то я луну опять.
Стало жаль его немного,
Но он свистнул у стены,
И пресек мою дорогу
Черный Город Сатаны.

И на месте, спотыкаясь,
Я бежал, бежал года,
Занавеска, раздуваясь,
Не пускала никуда.
Рев возник и рос до стона
Погибающих миров
И упал, почти до звона
Телеграфных проводов.

Лишь одна звезда светила
В напряженной тишине
И, хихикая, язвила
И подмигивала мне.
Звезды с высоты надменной
Ждали, кто бы мне помог.
От презренья всей вселенной
Я ничем спастись не мог.

Но живительным дыханьем
День вошел и засиял,
Понял я — конец страданьям,
И я к Господу воззвал.
Но забыв, о чем молиться,
Я заплакал, как дитя,
И смежил мне сном ресницы
Ветер утренний, шутя.

228

ПЛЕННИК

Без причитаний и слез, не взывая к Аллаху,
Ждал он, на окрик конвойных ответив без страха.

Когда кандалы принесли, он помог надевать их,
Улыбнулся как брат кузнецам, пришедшим
сковать их.

Прежде чем тронулись в путь и прах поглотил его,
Видя, как держится он, я о чем-то спросил его.

Мы говорили дорогой, но не о печали, —
Лишь о прекрасном Конце и о красном Начале.

Шел он в цепях, но ничуть не смущался их звоном,
Ковшик с холодной водой он принял с поклоном,

Благословляя Судьбу, вел рассказ величавый,
И слова расстилали ковры ослепительной славы.

Разукрашены Джиннами все и чудесней поверья,
Но холодный и пристальный взор победил
недоверье.

Так я узнал тот восторг, от земли отрешенный,
Скован закованным в цепи и пленным плененный.

Я вернулся на землю потом, и умчалось виденье,
Но велик он, — да будет над ним благословенье!

САМАЯ СТАРАЯ ПЕСНЯ

Потому что прежде Евы была Лилит.
Предание.

«Этих глаз не любил ты, и лжешь,
Что любишь теперь и что снова
Ты в разлете бровей узнаешь
Все восторги и муки былого!

Ты и голоса не любил,
Что ж пугают тебя эти звуки?
Разве ты до конца не убил
Чар его в роковой разлуке?

Не любил ты и этих волос,
Хоть сердце твое забывало
Стыд и долг и в бессильи рвалось
Из-под черного их покрывала!»

«Знаю все! Потому-то мое
Сердце бьется так глухо и странно!»
«Но зачем же притворство твое?»
«Счастлив я, — ноет старая рана».

СКОРЛУПКА

К закату улегся ветер,
К прибою туман поседел,
И взяла тут Ведьма Скорлупку,
Где Синий Чертенок сидел.
«Тони», — сказала, «плыви», — сказала,
«Мне тебя не жалко ничуть»,
«Тут ему и конец!» — сказала,
И Скорлупка пустилась в путь.

К полуночи замер ветер,
Туман был белей полотна,
И нащупала Ведьма Скорлупку,
Достав рукою до дна.
«Прочь!» — сказала, «убью!» — сказала,
Но сказал ей Чертенок: «Нет!
Смотри, корабли идут», — сказал он,
И пустился им вослед.

К рассвету поднялся ветер,
Туман от дождя поредел,
И увидела Ведьма Скорлупку,
Где Синий Чертенок сидел.
«Ты тонул?» — сказала, «ты плыл?» —
сказала.
Но ответил Чертенок тот:
«Я-то плыл, но сдается, — сказал он, —
Что кто-то ко дну идет».

СИНИЕ РОЗЫ

Целый ворох красных роз
Милой как-то я принес.
Не взяла она и — в слезы:
Синие найди ей розы!

Океан я пересек,
Чтоб найти такой цветок,
И расспрашивал я всех,
Но в ответ мне — громкий смех.

Я вернулся к ней зимой, —
Умер глупый ангел мой,
В смертный час последний взгляд
Видел в синих розах сад.

Может быть, цветочек тот
В небесах она найдет.
Зря я весь изъездил свет, —
Синих роз под солнцем нет!

ОТВЕТ

Стояла роза в рубище в саду,
Ропща на бога за свою беду.
Внезапный ветер в теплой темноте
Сломал ее одну на всем кусте.
Но бог, что слышит пыл и свет лучей,
Так, сжалившись, шепнул несчастной ей:
«Сестра, не слышала ль ты голосов,
Когда роняла вихри лепестков?»
Сказала роза: «Кто-то произнес:
Зачем опала лучшая из роз,
А Паутина виснет на кустах?»
И голос был: «Сын, так хотел Аллах».

И ласково, как будто лунный свет,
До розы божий долетел ответ:
«Сестра, еще был не рассеян мрак,
Еще и звезды не сияли так,
Пространство знало, ведал Ход времен,
Что ты осыплешься, и спросит он».
И стал цветок довольным, наконец,
И умер смертью праведных сердец,
А тот, кто вопрошал в вечерний час,
Вернувшись в лоно божье, душу спас.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Женщину в мраке ночном выкрал я в жены, —
Не дал познать мне ее стан всполошенный:
Бросилось племя, грозя мукой и кровью,
Но ее смех мне зажег сердце любовью.

Мчались мы с ней сквозь леса в сумрак
беззвездный,
Но задержал нас поток бурный и грозный,
Сыном Морей мы зовем гневного стража,
В страхе мы ждали конца, — вор и покража.

Встал я на бой, но она с легкостью зверя
Спрыгнула вниз на бревно, вросшее в берег,
Шкуры свои приподняв, словно ветрила,
Бога ветров защитить громко просила.

И, как живое, бревно (бог, ты над нами!)
На середину реки выплыло с нами.
Следом, звеня, топоров туча летела,
Я трепетал, но она радостно пела.

Скрылась земля вдалеке, — как покрывало
Синяя мгла над водой нас укрывала.
Тихо все было кругом. Вдруг, нарастая,
Свет запылал в глубине, мглу рассекая.

Прыгнул он кверху и встал в синем просторе, —
То властелином взошло Солнце простое
И, ослепив нам глаза, в невероятный
Мир растворило врата, в мир необъятный.

Видели мы (и живем!) пламень священный,
Но приказали бревну боги вселенной
К берегу плыть, где стоял, злобой объятый,
Вражеский стан, но теперь — мы были святы!

В прахе валялся, дрожа, враг пораженный,
Пали пред нами мужи, дети и жены,
Плотно руками прикрыв в ужасе лица,
И мы ступали по ним — пророк и жрица!

МАТИ МОЯ

Если мне стянут горло петлей,
Мати моя! О, мати моя!
Знаю, чье сердце будет со мной,
Мати моя! О, мати моя!

Если я в море глухом утону,
Мати моя! О, мати моя!
Знаю, чьи слезы дойдут в глубину,
Мати моя! О, мати моя! —

Если проклятью меня предадут,
Знаю, чьи к небу молитвы дойдут,
Мати моя! О, мати моя!

VII

ЖАЛОБА ПОГРАНИЧНОГО СКОТОКРАДА

За сладкую жизнь — горе мне! —
Что вел я из года в год,
И тройное горе — милой жене,
Что в Шалимаре ждет.

Жизайль[1] мой отняли они,
Меч, что был остр и нов,
В тюрьме я коротаю дни
За воровство коров.

Пусть бык в хлеву ревет чуть свет,
Йат[2] сеет урожай,
Не ждите, пока меня здесь нет,
Огня и грабежа.

Пусть пожалеет Йата бог,
Коль выйду на простор,
Пусть фермера хранит порог
Усердно он с тех пор.

О, горе, возле жерновов
Я коротаю дни!
О, горе — слышать звук оков,
Звенящих у ступни!

---

[1] Туземное ружье.
[2] Член значительного индусского племени в Пенджабе.

За все, что пало неспроста
Позором на меня,
Отвечу убылью скота
И пляскою огня.

За мной не взятого быка,
(Я был милостив, видит бог!)
Лишь дотянулась бы рука! —
Возьму не меньше трех!

За то, что этою рукой
Гасил я степь в огне, —
Я факелом, мечом, петлей
Страну зажгу вдвойне.

Мчись в Абазай, не трать минут,
Сагиб с волосами, как мед.
Тесней, — как ку̀ттуки[1] живут, —
Ляг, бонаирский скот.

Он будет мертвым предо мной,
Конь — в пене, до заката.
Копыта оплачет вороной,
Оплачет белый брата.

Войной, войной на вас пойдем,
Вам прямо в сердце целя,
За то, что сделали вы с вождем
И вором из Зука-Хеля.

А если я попадусь опять
Вы можете, так и быть,
Тухлого мяса мне в рот напихать
И в свиную кожу зашить.

---

[1] Племя, живущее на границе Индии.

ПЭДЖЕТ, Ч. П.[1]

Пэджет, Ч. П., был лгунишка, и к тому же
красноречив,
Индийский зной называл он «Азиатский Солнечный
Миф»;
«Изучать Восток» на три месяца он приехал в конце
ноября,
Я заставил его подписать контракт и остаться до
сентября,

Март начался кукушкой. Пэджет был полон сил,
Звал меня «надутым брамином», про «царский оклад»
говорил.
Кончился март и розы. Он сказал: «А жары-то
нет!»
«Придет!» — «Чепуха!» — промолвил Пэджет, Ч. П.,
в ответ.

Апрель принес нам пунку[2] и лишаи от жары,
Был по вкусу москитам Пэджет, объедались им
комары.

---

[1] Член парламента.
[2] Опахало.

Он стал рябой и пятнистый, и с грустью я наблюдал,
Как он лупит арийских братьев, совсем не как либерал.

Май принес пыльную бурю, Пэджет с солнцем пошел на закат,
Все сезонные наслаждения задели его подряд.
Во-первых, неделю «печень» — он портер попивал, —
Лихорадки легкая доза, — он «жестокой» ее называл.

В июне — дизентерия, после Шота Бурзат,[1]
Спал с тела дородный Пэджет и уехать он был бы рад.
Меня уж не звал он «брамином», «надутым» и «рвачом»,
Казалось, он удивлялся, что кому-то здесь все нипочем.

Июль был слегка нездоровым, — Пэджет, едва дыша,
Вспоминал о Cholera morbus, намекал, что жизнь хороша,
Лепетал о «восточном изгнаньи», в слезах говорил о жене,
А с моими детьми лет восемь не пришлось повидаться мне!

Как-то в полдень по Фаренгейту было сто двадцать один,
Пэджет брякнулся в обморок (Пэджет тучный был господин).
На этом он бросил занятья и бежал, всему изменив,
На практике и всесторонне изучил он Солнечный Миф.

---

[1] Ранние дожди.

Его проводив, я смеялся, но смеяться долго не мог,—
Я подумал о дурнях, как Пэджет, пишущих про Восток,
Об изъездивших свет идиотах, что стране не дают ничего,
И я бога молил, чтоб мне в руки он послал еще одного.

ЛЕГЕНДА О МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Вот почему этот Рустам Бег,
Раджа из Колазай,
Дул шампанское и брэнди-пег, [1]
Деньги швырял через край,
Злил всех правителей дорогих,
Добрых и — это подробность — слепых.

Рустам Бег из Колазай, край презрев отсталый свой,
Страстно жаждал Си Эс Ай [2] и тряхнул своей мошной:
Строил он водопровод, госпиталь, тюрьму, дома...
И решил, дивясь, народ — Рустам Бег сошел с ума.

Странный проводился план им в политике потом,
Полдесятка англичан горячилися при нем,
Все сулили — этот край просветится, наконец,
Будет, будет Колазай всей Европе образец!

Раджа, зная в деле толк, снизил пошлины вдвойне,
Полицейских целый полк экипировал вполне,
Либеральный — от души! — о налогах ввел закон
И, в борьбе со злом, Букши [3] сбавил жалованье он.

[1] *Брэнди-пег* — виски с коньяком.
[2] *Си Эс Ай* — орден Звезды Индии.
[3] Командующий войсками.

Магараджу разозля, тайный выпустил указ:
С взяточников, с февраля, не спускать шпионам
глаз.
Вверх ногами Колазай он поставил в краткий срок;
Наступает месяц май — Бег в надеждах изнемог.

В день рождения его — о, закрой глаза свои! —
Против имени его было только Си Ай И! [1]
Три недели, говорят, веселился Колазай,
И теперь там каждый рад вспомнить этот месяц
май.

Бег закрыл водопровод, снял с дотации тюрьму,
Красота родных болот вновь понравилась ему,
Все налоги в десять раз увеличил он затем,
Госпиталь его приказ превратил в большой гарем,

Дал Букши двойной оклад, оказал ему почет
И, надев родной халат, крепко взялся за народ.
Счастлив, счастлив Колазай, счастлив также
Рустам Бег,
Но сиянью Си Эс Ай — предпочел он симпкин-
пег. [2]

---

[1] *Си Ай И* — кавалер ордена Индийской империи.
[2] *Симпкин-пег* — шампанское с коньяком.

НРАВСТВЕННЫЙ КОД

Оставил дома Джонс жену и утром, вставши рано,
Отправился к Ха̀ррумским холмам, к границе
Афганистана,
Чтоб засесть с гелиографом в горах, но, прежде чем
уйти,
Он объяснил жене весь код и как его найти.

Мудрость ему даровала любовь, ей природа дала
красоту,
Связали Амур и Аполлон гелиографом эту чету.
Чуть свет, на Ха́ррумских холмах мерцали зеркала,
И до самого вечера проповедь по долам и весям шла.

Он ей велел беречься разодетых в пурпур юнцов,
А также отеческой ласки вкрадчивых стариков.
Особенное же беспокойство бедному Джонсу внушал
Снежноволосый Лотарио — Бэнгс, боевой генерал.

По горам, с ординарцем и штабом, верхом проезжал
генерал,
И вдруг он заметил на вышках мерцание зеркал.
Подумали все: «Восстанье! Пост снесен с лица
земли»,
Остановились, чтоб весть принять, и вот что они
прочли:

Точка-тире-точка-тире-точка. . . перебой!
С каких это пор называют генерала «дорогой»?
«Я твой навеки! . . . Котенок! . . . Твой ненаглядный
взор!»
«Дух великого лорда Уолсли! Кто засел на
вершинах гор?»

И адъютант остолбенел, и штаб лишился слов,
И заносили все в блокнот послание холмов.
Охваченный тревогой Джонс своей супруге рек:
«Не танцуй с генералом Бэнгсом — он
безнравственный человек».

(Так, сидя в Хáррумских холмах, он слал ей свой
наказ,
Но если и слепа любовь, то у света немало глаз).
Гелиографировал он жене на закате и на заре
Интересные факты из жизни Бэнгса точками и тире.

И адъютант остолбенел, и штаб стоял без слов,
И генерал в седле краснел, читая весть с холмов,
И, наконец, промолвил он (что чувствовал он, не
в счет):
«Мы письмо частное прочли. И рысью марш вперед!»

И к чести Бэнгса, никогда он Джонсу не сказал,
Кто между скал перехватил послание зеркал,
Но все ж по линии знают все, от гор до плавных
рек,
Что чтимый всюду генерал — «безнравственный
человек».

ЮЖНАЯ АФРИКА

Чудо-женщина жила
(Господи, прости ей!)
Не добра и не мила,
Но краса ее влекла
Джентльменов без числа
Дьявольской стихией.

Джентльменов без числа
От Дувра до Хольспая,
Африкой она была,
Южной Африкой была,
Нашей Африкой была,
Африкой без края!

В страшной жажде полстраны,
Полстраны в разрухе,
Кровь и меч вошли в дома,
И зараза, и чума,
Саранчи нависла тьма,
Падал скот, как мухи!

Правда, слишком правда то,
Что она такая!
Африкой ее зовут,

Южной Африкой зовут,
Нашей Африкой зовут,
Африкой без края.

Не было страшней труда
И позорней платы, —
Хлеб с разбитых поездов
Да навоз взамену дров,
Грязная вода из рвов,
Дыры и заплаты!

Жгла она им рты в пыли,
Кости — в лихорадке,
Ночи им лгала и дни,
Их терзала искони,
И клялись бежать они
Прочь и без оглядки.

Поднимали паруса
В ярости суровой, —
Вскоре, многого скорей,
Забывали горечь дней,
Злость и ложь прощали ей,
Возвращались снова.

Чтили милости ее
Больше небосвода,
За глаза ее и рот
Забывали племя, род
И могила их встает,
Как Алтарь Народа.

Кровью куплена она,
Возродилась в дыме,
И звала к оружью тех,

Для кого была их грех, —
Женщина прекрасней всех,
Всех боготворимей.

На ноги, пусть слышат все:
Вот она какая!
Африкой ее зовут,
Южной Африкой зовут,
Нашей Африкой зовут,
Африкой без края.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Людей мильоны здесь живут,
И любопытно мне и вам,
Что делать люди будут Тут,
Когда очутимся мы Там.

Нет места здесь правдивым и беспристрастным
судьям,
Но подожди немного — и скоро мы прибудем
В Последний Департамент, где ни обман, ни
глупость,
Ни алчность, ни тщеславье не досаждают людям.

Привязанности, страсти — ничтожны все
причины,
Когда зовет на службу Патрон глухой и чинный.
Жена — и та не в силах отсрочить этот «пукка», [1]
Который называют неправильно Кончиной.

Просроченный твой отпуск не может быть
продленным,
И в чистую ты выйдешь, отставлен с пенсионом,
И златоцвет могильный — единственная рента —
Нам встанет Вкладом Вечным и в золоте
внесенным.

---

[1] Прыжок — (индусское слово).

Тогда навеки праздный и навсегда зарытый
В своей конторе тесной, из прочных досок
сбитой,
Не отклоняет Браун кассационных Джонса
И в протокол не вносят особых мнений Смита.

В известку превратится — кто был Столпом
когда-то,
Покрыта будет прахом судебная палата,
И жирного фосфата исследователь станет
Предметом своего же ученого трактата.

Таков конец, который клянем, во всем
изверясь...
Приди же, Сущий, к Бывшим (все остальное
ересь!)
И выяснишь, что «малли»,[1] траву для коз таская,
Кладбищенским надгробьем толчет индийский
перец.

Полет песчаной бури и пограничной пули,
Коня испуг нежданный, глоток воды в июле,
Сонливое, тупое гуденье тучных клерков
И дуновенье пунки — мгновенно промель-
кнули, —

Нас полночь укрывает, и мрак все безысходней,
Его мы не прогоним, и нет борьбы бесплодней,
И если прежде были мы здесь незаменимы,
То триста кандидатов заменят нас сегодня.

---

[1] Кладбищенский сторож (индусское слово).

VIII

219

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН

На засов тугой закрыла дверь, в очаг подбро-
сила дров,
Потому что увидела блеск когтей и услышала
хнычущий зов.

Распелся в хижине огонь и озарил потолок,
И увидел сон Единственный Сын, едва на полу
прилег.

Последний пепел упал с головни и почти потух
очаг,
И проснулся опять Единственный Сын и тихо
крикнул во мрак:

«Неужели я женщиной был рожден и знал мате-
ринскую грудь?
Мне снился ворох мохнатых шкур, на которых я
мог отдохнуть.

Неужели я женщиной был рожден и ел из отцов-
ской руки?
Мне снилось, что защищали меня сверкающие
клыки.

Неужели я — Единственный Сын, и один играл
у огня?
Мне снились товарищи мои, что больно кусали
меня.

Неужели я ел ячменный хлеб и водой запивал
на-яву?
Мне снился козленок, ночью глухой зарезанный
в хлеву.

Мне снились полночные небеса и в Джунглях
полночный крик,
И тени, скользящие прочь от меня, и красный их
язык.

Целый час еще, целый час еще до восхода круг-
лой луны,
Но я вижу как днем, как светлым днем, потолок
и бревна стены.

Далеко, далеко Водопады шумят, — там оленей
ночной водопой,
Но я слышу блеянье оленят, за самкой бегущих
тропой.

Далеко, далеко Водопады шумят, — там зеленой
пшеницы поля,
Но я слышу: рассветный ветер идет, колосья
в полях шевеля.

Открой же дверь, я ждать не могу, мне сегодня
не спится тут,

Узнаю: сородичи ли мои или волки за дверью
ждут?»

. . . .

Сняла засов, открыла дверь, — вокруг рассветная
мгла,
И волчица к Сыну вышла из мглы, и у ног
покорно легла.

ЗАКОНЫ ДЖУНГЛЕЙ

Джунглей Заветы вечны и нетленны, точно небесная твердь;
Благо законопослушному Волку, доля ослушника — Смерть.

Словно лиана, обвившая древо, взад и вперед пробегает Закон,
В Волке едином — могущество Стаи, вкупе со Стаей всесилен и он.

Тело купай ежедневно; пей вволю — не с самого дна.
Памятуй: ночь для охоты, а день предназначен для сна.

Тигра нахлебник — Шакал; ты же, Волчонок в усах,
Волка добычи не трогай, действуй за собственный страх.

Ладь с Властелинами Джунглей — Пантера ль, Медведь или Тигр, —
И не смущай ни безмолвия Хати, ни Вепря семейственных игр.

Стая ль столкнется со Стаей на узенькой тропке лесной,
Пока вожаки не столкуются, смирно в сторонке постой.

С Волком из Стаи сражаясь, беги посторонних очей;
Меньше раздоров и свары — будет и Стая целей.

Логово Волка — твердыня; нет входа в него никому:
Ни заправилам Совета, ни Вожаку самому.

Если разишь до полудня, — криками лес не буди,
Ланей не спугивай робких: братья разят впереди.

Бей для себя и для маток, и для голодных щенят;
Но не убий для забавы, а Человека — стократ.

Добычу взяв у слабейшего, дочиста сам не съедай,
Помни: к убогому — жалость; шкуру и череп отдай.

Добыча Стаи — для Стаи; ты волен на месте поесть,
Смертная казнь нечестивцу, кто кроху посмеет унесть.

Добыча Волка — для Волка; над нею лишь он
властелин.
Без разрешения Волка из Стаи не ест ни один.

Право Щенка-одногодка — досыта зоб набивать
Добычей Стаи, и Стая не смеет ему отказать.

Право Берлоги — за Маткой: у всех однолеток своих
С туши четверку взимает она для прокорма щенков
молодых.

Право пещеры — Отцу; он, умом промышляя своим,
Стаи не слушает зова, и только Советом судим

возраст, за ум и зубастую, с крепкими мышцами,
пасть.

В том, что Закон не предвидел, Закон —
Предводителя власть.
Вот они, Джунглей Законы, запомнить обязан их
Волк;

Начало ж и корень и сердце Закона в одном:
Послушания долг.

УТРЕННЯЯ ПЕСНЬ В ДЖУНГЛЯХ

В тиши ночной скользим тропой,
Ни тени нет кругом;
Настанет день — за нами тень,
И мы домой бегом.
Теперь светлы зубцы скалы,
И каждый озарен,
Кричим опять: «*Всем крепко спать,*
Кто Джунглей чтит Закон!»

Конец охот, и наш народ
Спешит скорей назад,
В логу глухом, ползком-ползком
Князья лесов скользят.
Угрюм, тяжел, потащит вол
Скрипучую соху.
Как кровь горя, страшна заря,
Что нам грозит вверху.

Во тьму берлог! В огне восток
И шепчет вслух трава,
И крикнет вдруг сухой бамбук
Тревожные слова.
Нас гонит страх в родных лесах,
И шаг неверен стал,
А в небе дик утиный крик:
«О, Люди, День настал!»

В росе у всех был ночью мех,
Теперь он сух давно.
Где буйвол пил, прибрежный ил
Уже осел на дно.
Предатель Мрак, — рассвету знак
Когтей откроет он.
Кричим опять: «*Всем крепко спать,*
Кто Джунглей чтит Закон!»

ПЕСНЬ ЧИЛЯ

Вы товарищи мне были, вы ушли во тьме ночной, —
(Чиль! Слушайте Чиля!)
Просвищу теперь я Джунглям, что окончен славный бой.
(Чиль! Вестники Чиля!)
Сверху я бросал вам слово об олене на полях,
Вверх вы мне метали слово о поверженных врагах.
Кончен след, — и звук последний смолк в разомкнутых устах!

Это те, кто ратным кличем стадо мирное пугал, —
(Чиль! Слушайте Чиля!)
Те, чей зуб, как острый бивень, вражье горло протыкал.
(Чиль! Вестники Чиля!)
Кто пути не уступил бы грозно поднятым рогам,
Кто уверенно бы крался по извилистым тропам,
Больше им врага не видеть, — видно, здесь конец следам.

Эти все — друзья мне были... Право, жаль, что умерли!
(Чиль! Слушайте Чиля!)
Надо их почтить; с гостями я снижаюсь до земли..

(Чиль! Вестники Чиля!)

Бок истерзан, впалы очи и разинут красный зев,
Все легли они вповалку, гибель лютую презрев,
Здесь конец следам, — и грустен погребальный наш
напев!

УГРОЗА МАУГЛИ СЕЛЬЧАНАМ

Напущу я на вас неотвязные лозы,
И род нечестивый ваш Джунгли сметут!
  Кровля обрушится,
   Балки падут,
И *карелой*, горькой *карелой*
  Дворы зарастут!

У ваших околиц зверье будет петь,
У притолок хижин — вампиры висеть;
  Змея сядет стражем
   За печку, на под,
   И горше полыни
  Карела свой вырастит плод!

Бойцов вам не видеть: незримы, как дух,
Они поразят ваш испуганный слух.
   И волк будет лютый
    У вас в пастухах,
  И горькое семя *карелы*
   Лежать в бороздах!

И вырву я жатву у вас из-под рук,
И плевел вам выращу, горький, как лук;
   Олень будет пахарь
    Несеянных нив,
И горек вам будет *карелы*
    Зеленый налив!

Я цепкие лозы на вас натравил,
Незримые Джунгли в селенье пустил!
Деревья восстанут,
И кровли падут,
И горькие стебли *карелы*
Пустырь оплетут!

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ БАНДАР-ЛОГОВ

Мчимся мы с пляской в лесной тишине
На полдороге к ревнивой луне!
Разве не хочется вам в наш круг?
Разве не нужно вам лишних рук?
Разве не нужен вам хвост такой,
Что выгнут, как лук Купидона, дугой?
Сердитесь вы? Но — нам все нипочем:
Братец, твой зад украшен хвостом!

Здесь мы гирляндой висим на ветвях,
Мечтая о разных прекрасных вещах
И о делах, что хотим совершить,
Но так, чтоб в минуту их все разрешить, —
Весьма благородных, добрых, больших,
Коль можно желанием выполнить их.
Ну, что же, пошли? Но—нам все нипочем:
Братец, твой зад укрqшен хвостом!

Все, что мы слышали в жизни своей
У мыши летучей, у птиц, у зверей,
Толстокожих, пернатых или подводных, —
Мы повторяем всё сразу свободно!
Великолепно! Восторг! Еще раз!
Вот мы болтаем как люди сейчас!
Представим, что мы... Но — нам все
нипочем:

Братец, твой зад украшен хвостом!
Идут обезьяны лишь этим путем!

Так примыкайте же к нам, прыгающим по ветвям,
Там, где легка и гибка вьется лоза по стволам.
Путь наш отмечен дермом и громом, что мы издаем;
Верьте, верьте, много славных дел свершить
удастся нам!

ЛЕГЕНДЫ О ЗЛЕ

I

Это рассказывать надо
С наступлением темноты,
Когда обезьяны гуляют,
Держа друг другу хвосты.

«В лесу отцы наши жили,
Велика была их прыть,
Они отправились в села,
Фермеров играм учить.

Отцы резвились в пшенице,
Отцы топтали ячмень,
Отцы качались на ветках
И плясали среди деревень.

Потом пришли земледельцы,
Не знавшие игр никаких,
И наших отцов поймали
И работать заставили их.

Дали им плуги и косы,
Научили работам простым,
Посадили в темницы из глины
И... отрезали им хвосты.

Теперь мы отцов наших видим,
Старых, согбенных трудом,
Склоненных над рожью и просом,
Копающих чернозем,

Ведущих борозды в поле,
Поправляющих доски ярму,
Сидящих в темницах из глины,
Коптящих обед в дыму.

Мы к ним подойти не смеем,
Потому что, узнав нас, тотчас
Земледельцы придут в наши чащи
И заставят работать и нас».

Это рассказывать надо
С наступлением темноты,
Когда обезьяны гуляют
И щиплют друг другу хвосты.

II

Дождь нависал покровом, и был ковчег готовым,
И Ною был приказ собрать зверей со всей земли,
Он брал их неучтиво за шкуры, перья, гривы,
И все, за исключением осла, покорно шли.

Ной звал его любезно, но было бесполезно.
Тогда, кляня его, он громко крикнул: «Чорт!
Чорт с ослом, тебя родившим, и с ослом, тебя кормившим!
Чорт с тобою, безобразник!» И осел взошел на борт.

Но ветер был обратным, и путь был неприятным,
И от запаха конюшни лэди падали без сил,
Со скотиной было худо, звери дохли целой грудой,
И Ной сказал: «Один из нас за путь не заплатил!»

Он слышал возмущенье у всех родов творенья,
Как яростно трубят слоны, и как ревут киты.
С подветренного борта он вдруг заметил чорта,
С большими вилами в руках, дерущего хвосты.

Чорт выругался глухо, а Ной промолвил сухо:
«Чем вызвано, нельзя ль узнать, такое посещенье?»
Чорт молвил лицемерно: «Сэр, вы забыли верно,
Сюда явился я с ослом на ваше приглашенье».

ПЕСНЬ МАЛЕНЬКОГО ОХОТНИКА

Видишь? Мор-Павлин трепещет, раскричались
обезьяны,
Чиль кружит тревожно на больших крылах,
И неясные мелькают в полумраке Джунглей тени —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

По прогалине скользнуло как бы смутное виденье,
И пронесся шопот в сумрачных кустах;
А на лбу вспотевшем капли, и дрожат твои
колени —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

Месяц, вставши над горою, серебрит седые скалы,
Звери, хвост поджавши, прячутся в лесах,
Вслед тебе несутся вздохи, и листок крошится
вялый —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

На колено! За тетиву! И спускай проворно стрелы,
В тьму коварную стреми копья размах.
Но рука бессильно виснет, но душа оцепенела —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

А когда в сияньи молний буря валит ствол и колос
И разверзлись хляби в темных небесах,
Все громовые раскаты покрывает жуткий голос —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

Валуны, как щепки, пляшут в волнах бурного потока,
Пятна молнии дрожат на лепестках,
В горле сушь, и сердце бедное колотится жестоко —
Это Страх, Охотник-крошка, это Страх!

СОДЕРЖАНИЕ

III

IV

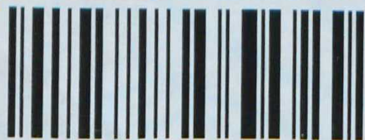
V

VI

VII

VIII

Ответственый редактор *И. А. Оксенов*. Технический редактор В. *Бомаш*. Коорректор *С. Раевская* Ленгослитиздат № 860. Леноблгорлит № 14251. Тираж 10300. Сдано в набор 16/II 1936 г. Подписано к матриц. 22 VII 1936 г. Подписано к печати 16 IX 1936 г. Бумага 72×110[1]/[32]. Учет. авторских л. 9,7. Бумажных л. 4¼. Типографск. зн. на 1 бум. л. 116200. Цена 3 руб. (Переплет коленкоровый 1 р. 25 к.; бумажный 75 к. Набрано в типографии „Печатный двор“ отпечатано с матриц в тип. им. Володарского, Фонтанка, 57. Заказ № 457.


2011095279